

# ВЕЛИКАЯ ДУША

Воспоминания  
о Дмитрие  
Шостаковиче



# ВЕЛИКАЯ ДУША

Воспоминания  
о Дмитрие  
Шостаковиче

Составитель  
протоиерей МИХАИЛ АРДОВ



Б.С.Г.-ПРЕСС

ББК 84 (2 Рос=Рус) 6

В 27

Художественное оформление и макет А.Рыбакова

В 27 Великая душа. Воспоминания о Дмитрие Шостаковиче.  
Письма. – М.: Б.С.Г.-ПРЕСС, 2008 – 254 с.

ISBN 978-5-93381-275-3

«Великая душа» – такое название дал этой книге ее автор и составитель протоиерей Михаил Ардов, собравший под одной обложкой собственные воспоминания о Дмитрие Шостаковиче, воспоминания детей великого композитора, с которыми он подружился в юности, а также множество рассказов современников этого необыкновенного человека.

«С течением лет и даже десятилетий интерес к Шостаковичу во мне не исчез...» – пишет Ардов. Хочется надеяться, что читатель, открыв эту книгу, узнает много нового о гении XX столетия.

ББК 84 (2 Рос=Рус) 6

ISBN 978-5-93381-275-3

© М.Ардов, состав, 2008

© А.Рыбаков, оформление, 2008

© «Б.С.Г.-ПРЕСС», 2008

# ПРЕДИСЛОВИЕ

Чинный завтрак в доме Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. За столом хозяин, его сын Максим, два наших общих с Максимом приятеля и мы с братом Борисом. Все молчат, и тишина довольно-таки неприятная. Максим обращается ко мне:

— Мишка, расскажи какой-нибудь анекдот, ты ведь их все знаешь!..

Реплика повисает в воздухе.

Молчание становится еще тягостнее.

Дело было так.

Максим устроил холостяцкую пирушку, которая затянулась далеко за полночь, и мы остались у него ночевать. А рано утром неожиданно-негаданно пожаловал с дачи Дмитрий Дмитриевич, и нас, мягко говоря, заспанных, усадили за табльдот.

## ПРЕДИСЛОВИЕ

В те времена я был, что называется, «душой общества». Память моя хранила множество анекдотов и забавных случаев, значительную часть которых я слышал от моего отца, писателя Виктора Ардова, и от людей, приходивших в наш дом на Ордынке.

Но за тем завтраком у Шостаковича у меня «язык прилип к гортани». По двум причинам. Во-первых, я сидел за столом рядом с признанным всем миром гением, а во-вторых, Дмитрий Дмитриевич в присутствии посторонних людей делался крайне напряженным, и это нельзя было не почувствовать...

Году эдак в пятьдесят четвертом или пятьдесят пятом у нас с моим младшим братом Борисом появился новый приятель. Он был тонок, изящен и очень красив, и все это в соединении с юмором, веселостью и необычайным артистизмом. Я по сию пору убежден : если бы Максим не занимался музыкой, он мог бы стать замечательнейшим актером.

Он был — и остался — не столько рассказчиком, сколько «показчиком» смешных историй. На бумаге невозможно передать то, чем нас Максим потешал и радовал.

Помню, к примеру, как он изображал толстого болгарского полицейского, завязывающего шнурок на башмаке: одну ногу он поставил на стул, а наклонился к другой, той, что стояла на полу.

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Или такой трагикомический этюд.

Максим изображал человека, который идет по улице и несет под мышкою маленький детский гробик. Навстречу молодая женщина катит колясочку с грудным младенцем. Прохожий деловито заглядывает в коляску и бодрым голосом спрашивает у матери:

— Это кто у вас? Мальчик? Девочка?..

Мы тогда были очень молоды и очень веселы. Компанию составляли, кроме нас с Борисом и Максимом, будущие писатели Андрей Кучаев, Александр Нилин — сын прославленного прозаика, и Евгений Чуковский — впоследствии оператор кино и телевидения, внук Корнея Ивановича.

С Чуковским-дедом у нас была, кстати, связана следующая история. Однажды Борис и Максим приехали к Жене в Переделкино. Гости проголодались, им выдали по бутерброду с сыром. Молодые люди стояли возле дома и с аппетитом ели. В этот момент отворились ворота, и на дачный участок въехала длинная черная машина, из которой вышел Корней Иванович. Он увидел гостей и произнес:

— Здравствуйте, Максим и Боря! Это вы мое едите?

Пожалуй, самое памятное для меня событие из тех, что происходили в середине 50-х годов, — поездка в Крым на автомобиле. Машина принадлежала Дмитрию Дмитриевичу,

## ПРЕДИСЛОВИЕ

который не побоялся доверить ее Максиму и будущему своему зятю Евгению Чуковскому. Ехали мы впятером: впереди Женя и его невеста Галя, на заднем сиденье — Максим, Андрей и я.

Наше пребывание в Крыму началось с такого приключения. В Симферополь мы приехали поздно вечером. В центре города нашли самый лучший ресторан и пошли туда ужинать. Нас усадили за столик, подошел официант. Вид у него был крайне расстроенный. Принимая наш заказ, он сообщил, что несколько минут назад от него, не заплативши ни рубля, сбежал посетитель, который выпил и поел на значительную сумму. Мы посочувствовали бедняге и погрузились в ожидание заказанной еды и питья. Прошло десять минут, двадцать, тридцать, сорок... Задержка была неправдоподобно долгой. Тогда кто-то из нас подошел к другому официанту и спросил: «Куда запропастился тот, что принял наш заказ?» Ответ был такой: «Он вышел на улицу, чтобы поискать там посетителя, который ему не заплатил...»

Поездка наша вполне удалась. Мы побывали в Мисхоре, потом в Коктебеле, загорали, купались. Общение было очень тесным. Галя и в особенности разговорчивый Максим то и дело рассказывали о своем отце. То, что я слышал от них, несколько не вязалось с моими

## ПРЕДИСЛОВИЕ

личными впечатлениями. С нами, приятелями сына и дочери, Дмитрий Дмитриевич был безукоризненно вежлив, но при этом от него, как я уже заметил, всегда исходило какое-то ужасающее напряжение. А его дети говорили нам о незаурядном чувстве юмора, о сердечности, об отзывчивости... Вот тогда-то, во время той давней поездки, во мне зародился живой интерес к личности Шостаковича. Я и в юном возрасте смотрел на Дмитрия Дмитриевича как на некое чудо.

С течением лет и даже десятилетий интерес к Шостаковичу во мне не исчез, как не исчезло и впечатление, что Максим и Галя знают о Дмитрие Дмитриевиче нечто такое, чего не знает о нем никто. В конце концов, я задался целью: записать то, что мои друзья захотят рассказать об отце.

Так родилась на свет эта книга. Монологи сына и дочери композитора я дополнил выдержками из его писем, фрагментами мемуаров и т.д. ...

В некоторых случаях я не мог удержаться, чтобы не сопроводить рассказы Максима и Галины своими воспоминаниями, прямо или косвенно относящимися к разговору.

За время работы над этой книгой я прочел множество материалов, так или иначе связанных с личностью великого композитора, много думал о нем, о его судьбе.



## ПРЕДИСЛОВИЕ

И вот, если бы меня теперь спросили, встречал ли я когда-нибудь абсолютно гениального человека, — я бы ответил: да, я был знаком с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем!

И на вопрос: «Известен ли был мне подлинный русский интеллигент до мозга костей?» — я дал бы тот же самый ответ.

Иосиф Бродский в свое время назвал Анну Ахматову — «великой душой». Примерно так же отзывался о Шостаковиче дирижер Кирилл Кондрашин: «Великой души был человек».

Для меня сочетание имен Бродский, Ахматова, Шостакович — не просто перечисление знаменитостей. На моей памяти Дмитрий Дмитриевич по просьбе Анны Андреевны пытался облегчить участь арестованного Иосифа. Но об этом — в свое время...

Великая душа... Это словосочетание представляется мне наилучшим наименованием для этой книги.

*Протоиерей Михаил АРДОВ*

# I

ГАЛИНА:

У ворот нашей дачи стоит маленький красный автомобиль. Отец и мама нагружают его чемоданами, а мы с братом Максимом смотрим на них. У меня в руках огромная кукла — мне ее подарили совсем недавно, и я ужасно боюсь, что родители оставят ее на даче...

Это одно из самых ранних моих сознательных воспоминаний. Лето сорок первого года, только что началась война, и мы переезжаем из Комарова (тогда это местечко называлось по-фински Келомяки) в город, на нашу ленинградскую квартиру.

Следующее воспоминание относится к осени того же года: аэродром в окруженном немцами Ленинграде. На этот раз мы со своими вещами погружаемся в самолет. Он был сов-

сем небольшой: кроме родителей и нас с братом, в нем только летчики, три или четыре человека.

Внутри никаких сидений, дощатый пол и деревянные ящики. Нам сказали, что на них садиться нельзя, и мы расположились на чемоданах. В крыше самолета был прозрачный колпак, под ним стоял один из летчиков, стрелок, он все время глядел по сторонам. Он нас предупредил: «Если махну рукой — все ложитесь на пол!..»

#### МАКСИМ:

На аэродром ехали на черной «эмке», это была собственная машина отца. Он вспоминал, что возле нашего ленинградского дома, на Большой Пушкарской улице, когда мы усаживались в автомобиль, я впервые внятно произнес букву «р»; до той поры я не умел ее выговаривать. Тут я обратился к родителям с таким вопросом: «А вдруг немец нас как т-ррр-ахнет?!»

А во время полета я смотрел в иллюминатор и видел внизу вспышки. Я спросил мать с отцом: «Что там такое?» И мне объяснили, что это немцы стреляют по нашему самолету.

#### ГАЛИНА:

Приземлились мы возле какого-то подмосковного леса, там стояла небольшая избушка.

Наши летчики принялись рубить деревья и закрыли ветками свой самолет. В том домишке, возле леса, мы переночевали.

Потом мы жили в гостинице «Москва». Это я плохо помню. Зато мне запомнилась поездка в магазин; там нам с Максимом купили новые игрушки, взамен тех, что остались в Ленинграде.

**Борис ХАЙКИН** (*дирижер*):

1941 год, октябрь. Я живу в гостинице «Москва»... Частые воздушные тревоги заставляют спускаться в подвал под громадное по тем временам здание гостиницы. Там встречаемся — Шостакович вместе с Ниной Васильевной и с двумя маленькими детьми. Сыро. Холодно. Сколько продлится тревога — абсолютно неизвестно. Шостакович ходит по подвалу беспокойными шагами и повторяет, ни к кому не обращаясь: «Братья Райт, братья Райт, что вы наделали, что вы наделали!»

**Михаил АРДОВ:**

Воздушная тревога в Москве — мое самое раннее сознательное воспоминание. Только что разразилась война, и меня везут с дачи в Москву, на Ордынку. Я даже не припоминаю, кто именно меня вез. Кажется, была мама и еще кто-то. Зато совершенно явственно помню толпу на Ярославском вокзале, панику,

звук сирены. Все толкаются, все спешат в метро, в подземелье.

А потом — великое множество людей, они заполнили всю платформу, балконы и лестницы. Помню напряженную тишину, ненатуральное молчание, которое сковало всех, головы у всех подняты, и все чего-то ждут, прислушиваются...

**ГАЛИНА:**

Из Москвы путь нашего семейства лежал в Куйбышев. Ехали мы на поезде, и в дороге у нас потерялись два чемодана.

**МАКСИМ:**

Вместе с нами в эвакуацию ехал Арам Хачатурян.

Много лет спустя, он рассказывал музыковеду Г. М.Шнеерсону, что в вагоне вместо сорока двух человек разместилось более ста и что какого-то парня, забравшегося на третью полку, долго убеждали уступить место Нине Васильевне Шостакович с детьми.

**ГАЛИНА:**

По прибытии в Куйбышев мы поселились в здании школы, вместе с семьей художника Петра Вильямса, но вскоре нам предоставили отдельную комнату.

Николай СОКОЛОВ (*художник, один из «Кукрыниксов», он цитирует монолог Шостаковича*):

— Знаете, Николай Александрович, когда в Москве мы с ребятами влезли в темный вагон, я почувствовал, что попал в рай! Но на седьмые сутки езды я уже чувствовал себя как в аду. Когда же меня поместили в классе школы, да еще на ковре, и обставили кругом чемоданами, я снова ощутил себя в раю, но уже через три дня меня стала утомлять эта обстановка: нельзя раздеться, кругом масса незнакомых людей... Я вновь воспринял это как ад. Но вот меня переселили в отдельную комнату... Так что же? Через некоторое время я почувствовал, что теперь мне необходим рояль. Дали мне и рояль. Все как будто хорошо, и снова я подумал: «Вот это рай!» Но начинаю замечать, что в одной комнате работать все-таки неудобно: дети мешают, шумят...

Дмитрий ШОСТАКОВИЧ (*из письма И.И. Соллертинскому от 10 декабря 1941*):

«Я окончательно обосновался в Куйбышеве. Вчера я переехал в отдельную квартиру. До сих пор я жил в комнате, а теперь у меня квартира из двух комнат, и я чувствую себя в ней прекрасно. <...> Нина, Галина и Максим здоровы и чувствуют себя хорошо, особенно дети. Такой у них счастливый возраст. Животики не

болят, сыты, обуты, им тепло, поэтому для них жизнь прекрасна. Завидую я им. Если бы мне ихний возраст. Приступил я к сочинению 4-й и последней части 7-й симфонии. Из Ленинграда я вылетел налегке. Взял с собой лишь партитуру Леди Макбет, 7-ю симфонию и симфонию Стравинского (мое переложение и партитуру. <...>

Живу я тихо. Сижу большей частью дома и работаю. Вечером, да и в течение дня заходят друзья: Оборин, Рабинович. Играем в 4 руки, хотя нот тут очень мало. Пьем чаек и вспоминаем друзей. Чаще всего тебя и Шебалина. Расходимся довольно рано. Иногда лишь засиживаемся до часу, до двух. Мечтаем о возвращении домой, в свои родные города.. Мечтаем до одурения и часто до слез. И я верю, что мы с тобой скоро будем дома и будем жить так же, как и до отъезда. А пока я очень скучаю и прошу тебя: не забывай обо мне и пиши почаще. И пусть твои письма будут не только ответами на мои, а пусть они будут писаться не в зависимости от получения моих писем. И я обязуюсь писать чаще.

Не знаю, сообщал ли я тебе, что во время путешествия из Москвы в Куйбышев, я потерял, или у меня украли, два чемодана со всей нашей одеждой и со всем бельем. Потеря весьма ощутительная. Кое-как восстановил статус кво.

ГАЛИНА:

В Куйбышеве у нас появилась лохматая собака Рыжик. Мы с Максимом нашли его в подъезде на лестнице, и — о, радость! — родители позволили ему у нас жить. Он был сообразительный и неприхотливый — типичный дворový пес.

И еще одно существенное воспоминание о жизни в Куйбышеве: нас с братом впервые взяли на концерт, это была премьера Седьмой симфонии нашего отца. До этого мы присутствовали на репетициях, и наша мама вспоминала: Максим выходил на сцену и начинал дирижировать, так что его приходилось насильно уводить за кулисы.

Илья СЛОНИМ (*скульптор*):

В январе 1942 года оркестр начал репетиции Седьмой симфонии. Шостакович взял меня на несколько репетиций. Он сам не пропустил ни одной. Он, бывало, спокойно сидел в каком-нибудь темном углу и высказывал свое мнение только после того, как оркестр переставал играть. По дороге домой он всегда хвалил оркестр. За все время, пока шли репетиции, он казался в приподнятом настроении...

На концерте он чувствовал себя несчастным. Публика заставила его выйти на сцену до начала концерта, и он, вытянувшись и без



улыбки, кланялся беспощадной толпе поклонников. А после концерта, когда все с ума сошли от восторга, высокий и суровый молодой человек снова поднялся на сцену, как на эшафот.

**Михаил АРДОВ:**

Тут можно упомянуть о невероятной скромности Шостаковича. Вот как он описывал этот концерт в письме И.И.Соллертинскому: «Живем мы хорошо. 5 III была исполнена моя 7-я симфония. Кроме симфонии ничего не исполнялось. После 1-й части, которая длится 32 минуты, был антракт. Затем исполнялись 2-я, 3-я и 4-я части. Успех был довольно большой. Великолепно играл оркестр. Самосуд был очень хорош в первых трех частях. К последней он немного устал. Как никак, а ему 58 лет. Но во всяком случае и 4-я часть прозвучала достаточно убедительно. Надеюсь, что скоро приедут мои родные из Ленинграда.»

**МАКСИМ:**

Я репетиций почему-то не помню. А вот концерт мне запомнился, музыка Седьмой симфонии вошла в мою душу. Тема нашествия из первой части, приближение чего-то жуткого, неотвратимого... У нас с Галей была тогда набожная няня, такая Паша. И я эту музыку слышал во сне. Издалека звучит барабан, все

громче и громче. И я в ужасе просыпался от этого кошмара, бежал к Паше, она крестила меня и читала молитву.

А еще я запомнил вкус конфет, которыми нас с Галей угощали на той премьере. Это была шоколадная помадка; такие конфеты мне никогда больше не попадались.

**ГАЛИНА:**

В годы войны катастрофически не хватало продовольствия, и в этом, конечно, причина того, что вкус той помадки так запомнился Максиму. Разумеется, мы никогда не голодали, но отцу было непросто прокормить всю многочисленную родню, которая приехала к нам в Куйбышев.

**Дмитрий ШОСТАКОВИЧ** (*письмо к И.Д. Гликману от 1 марта 1943 года*):

«Все члены моей семьи здоровы и все время громкими голосами говорят о продуктах питания. Я, слушая эти разговоры, начал забывать многие слова, но хорошо помню следующие: хлеб, масло, полкило, водка, двести грамм, пропуск, кондитерские изделия и немногие другие...»

**МАКСИМ:**

И еще одна история, связанная с городом Куйбышевым. Во времена советские для лиц

привилегированных существовали так называемые «закрытые» магазины и столовые. Продукты и товары там были лучшего качества и по низким ценам. Так вот отец рассказывал, что на какой-то двери он обнаружил в те дни такое выразительное объявление:

«С 1 февраля открытая столовая здесь закрывается. Здесь открывается закрытая столовая».

ГАЛИНА:

В дверях комнаты появляется скульптор Илья Львович Слоним. Строгим голосом он говорит:

— Дети, отдайте мой пластилин!

Мы с Максимом смущены, быстро собираем кусочки и возвращаем хозяину.

Это было в те дни, когда Слоним работал над портретом отца. Уходя после очередного сеанса, он прятал свою работу в картонный ящик и ставил под папин рояль. Специального пластилина для детей тогда еще не существовало, и вот мы с Максимом тайно залезли в ящик Слонима и похитили оттуда некоторое количество пластилина. Мы, конечно, предполагали, что скульптор пропажи не заметит, но просчитались. Дело кончилось нашим позором и строжайшим выговором от родителей.

МАКСИМ:

Я хорошо запомнил, что мы делали с этим пластилином. Мы брали с папиного стола карандаши и на конец каждого налепляли такое пластилиновое утолщение, нечто похожее на сосиску или, точнее, на куриную ногу. У нас это так и называлось: «куриные ноги». А потом мы их швыряли так, чтобы они прилипали к стене.

Илья СЛОНИМ:

Шостакович пригласил меня в свою студию. Вся мебель состояла из рояля, стола с чернильницей и стула. До моего прихода он работал. Я начал извиняться. «Вы мне нисколько не помешали, никто не может мне помешать, когда я работаю», — сказал Шостакович. Я тогда подумал, что он сказал это просто из вежливости, но я вспомнил об этом, когда стал свидетелем такой сцены: Шостакович работает у стола, а его дети (четырех и шести лет) кувыркаются по всей комнате (и надо отдать им справедливость, это дети, которых не только видно, но и слышно). Затем следует такой диалог:

— Папа, пап!

— Ну, что?

— Папа, что ты делаешь, папа?

— Пишу.

Тридцать секунд молчания.

# I

— Папа! А что ты пишешь, папа?

— Музыку.

За все время, что мы с ним разговаривали, он ни секунды не сидел спокойно, непрерывно выходил из комнаты и возвращался обратно...

## II

ГАЛИНА:

Из окна высовывается разъяренный человек и громко кричит нам, детям:

— Я вам сейчас уши оборву! Я родителям пожалуюсь! Чтобы я вас тут больше не видел!

Это Сергей Сергеевич Прокофьев. Мы частенько играли под окном его комнаты, шумели и мешали ему сочинять музыку.

Происходило это летом сорок третьего года, в Иванове, а точнее, в Доме творчества и отдыха композиторов, неподалеку от этого города. Там была деревня Горино и в ней «Птицесовхоз №69». При нем-то и был организован этот самый Дом творчества, дабы именитые музыканты не бедствовали.

Когда-то в Горине была усадьба — господский дом, парк, конюшни, скотный двор. А во

## II

времена, о которых я веду рассказ, кроме композиторов, исполнителей и музыковедов, там обитали лошади, коровы, свиньи и великое множество кур. А вокруг — лес, луга, поля, речка Харинка.

Начиная с 1943 года, наша семья подолгу жила в этом красивейшем месте. У меня сохранился альбом с фотографиями, которые делала моя мама: отец и я на стоге сена; отец с маленьким поросенком на руках; мы с Максимом на лугу среди цветов.

**МАКСИМ:**

Я очень хорошо помню, как мы дразнили Прокофьева. Он жил в главном, каменном доме, и окно его комнаты чаще всего бывало настежь распахнуто. Мы потихоньку приближались, а потом начинали кричать:

— Сергей .Сергеич, тра-та-та! Сергей Сергеич, тра-та-та!

И тут в нас летело пресс-папье и еще какие-то предметы. «Уши оборву!» — этот крик Прокофьева я до сих пор слышу.

**Григорий ШНЕЕРСОН:**

Для Шостаковича приспособили крохотное помещение бывшего курятника. Туда поставили пианино и к одной из стенок приколотили некое подобие столика. Здесь была написана Восьмая симфония.

## II

Арам ХАЧАТУРЯН:

Помню, что он работал над этим сочинением в небольшом сарайчике, куда втиснули пианино. Любопытно, что, пока он не закончил партитуру, никто никогда не слышал из его «кабинета» ни одного звука. Он писал ее за маленьким столиком, прибитым к стене, почти не притрагиваясь к инструменту.

МАКСИМ:

Я вспоминаю отца, сидящего на высоком стуле. Это — волейбольная площадка, обитатели Дома творчества бьют по мячу, а Шостакович судит игру.

Николай ПЕЙКО (*композитор*):

Мы, молодые композиторы, жили в большом доме в одной общей комнате, отгороженной от столовой простынями. Ровно в пять, ни минутой позже, простыни раздвигались, в щель просовывалась голова Д.Д., и он изрекал по-английски: «It is time to play volley-ball» («Пора идти играть в волейбол»). И добавлял любимую фразу спортивного комментатора тех лет Вадима Синявского: «Матч состоится при любой погоде!»

МАКСИМ:

Жившие в Горине композиторы делились на три категории, сообразно своему таланту и



месту, занимаемому в советской музыкальной иерархии. Был такой порядок: каждому уезжающему из Дома творчества выдавались куриные яйца — 50, 40 или 30 штук.

Это зависело именно от категории, которая была присвоена данному индивидууму. И Шостакович, который, разумеется, входил в первый разряд, смущался, если одновременно с ним получал свою порцию какой-нибудь третьеразрядный коллега.

И еще такая деталь. Чтобы попасть в деревню Горино, с поезда надо было сходить на станции, которая называлась «Иваново-сортировочная». Так вот, С.С. Прокофьев в отсылаемых оттуда письмах, я знаю, делал пометку: «Иваново-сортир».

ГАЛИНА:

Мы, несколько девочек, выходим на середину комнаты и синхронно произносим:

— Э!..

Мы — участницы игры в шарады и должны изображать имя «Эразм Роттердамский». Первая часть: произносим «Э» — разом. А вторая часть такая: некто «роттер дамский». Этот некто — юный Мстислав Ростропович, а дама, чей рот он тер, была я...

Происходило это во время школьных зимних каникул все в том же «Птицесовхозе №69», то бишь в Доме творчества и отдыха

## II

композиторов. Там наше семейство и познакомилось с будущей знаменитостью. Ростроповичу предстояло стать весьма близким нам человеком, а потом и соседом по даче в Жуковке.

Той памятной мне зимою мы с Максимом катались с горки на лыжах, и происходило это под надзором Ростроповича: было у него такое поручение от наших родителей.

# III

ГАЛИНА:

Мы с Максимом стоим в кабинете у отца, и он произносит:

— Улица Кирова, дом 21, квартира 48. Телефон К-5-98-72. Запомнили? Повтори! И ты повтори!

Нас только что привезли в квартиру, которую отец получил в Москве. И он требовал, чтобы мы назубок знали свой новый адрес и телефон. Вдруг потеряемся, и тогда без этого не обойтись.

Я хорошо помню первую нашу московскую квартиру — дом был старый, с высокими потолками, стоял он во дворе, прямо напротив главного почтамта.

МАКСИМ:

Из радиоприемника доносится бодрый голос:

### III

— Встаньте прямо, ноги на ширине плеч!  
Первое упражнение...

Раннее утро, в окнах зимняя тьма, а мы — папа, Галя и я — делаем наклоны и машем руками, под аккомпанемент невидимого рояля.

Поскольку отец весьма заботился о нашем с сестрой здоровье, он спозаранку поднимал нас с постелей и заставлял заниматься гимнастикой. Я это очень хорошо помню. Я даже не забыл фамилию человека, который вел по радио передачи утренней гимнастики: «Урок провел преподаватель Гордеев».

ГАЛИНА:

Еще до войны, в Ленинграде, нас лечил известный детский врач Александр Федорович Тур. А когда он приезжал в Москву, то непременно заходил к нам домой и внимательнейшим образом осматривал и меня, и Максима. Все рекомендации, которые давал доктор, наши родители старались выполнять неукоснительно. По совету Александра Федоровича были для нас куплены велосипеды.

Борис ХАЙКИН:

Как-то Дмитрий Дмитриевич рассказывал: «Вы знаете, Атовмьян мне порекомендовал очень полезную утреннюю гимнастику: рассыпать коробку спичек, а затем нагибаться за каждой спичкой, пока все их не соберешь. По-

### III

пробуйте, это очень трудно, у меня не получается». — «Почему?» — «Понимаете, в первый день я все сделал в точности, как мне сказал Атовмьян. На второй день оказалось, что у меня очень мало времени, пришлось присесть на корточки и собрать все спички сразу. А на третий день я только успел рассыпать спички, как по телефону сообщили, что мне надо ехать по срочному делу. Я быстро оделся и, уходя, сказал няне: «Я там рассыпал спички, соберите, пожалуйста».

Д м и т р и й Ц Ы Г А Н О В *(скрипач, речь идет о последних месяцах войны):*

Шостакович превосходно знает свойства и особенности струнных инструментов, и партии его сочинений уже до первой репетиции содержат почти все нужные указания. Однако он не упускает ни одной мелочи, внимательно следит за нами во время игры и часто точно фиксирует в партитуре понравившиеся ему приемы. <...>

На репетициях нашего квартета иногда присутствуют слушатели. Вот, например, старые знакомые — Лев Оборин, Виссарион Шибалин, наши близкие, а вот и совсем юные слушатели — Максим и Галя Шостаковичи. Они чинно сидят и слушают, а по окончании первой части трио, пользуясь паузой, Максим Шостакович подходит к роялю и к нашему об-

щему удовольствию играет, хотя и одним пальцем, но абсолютно верно, тему из этой части. Общей радости нет границ, и Максим заявляет, что квартет ему нравится меньше, так как там нет таких «веселых песенок», как эта, и, напевая эту тему, он удаляется, счастливо улыбаясь.

МАКСИМ:

Оркестр умолк, и дирижер обернулся к нам.

— Очень хорошо, очень хорошо, — говорит отец своей обычной скороговоркой.

И — репетиция Восьмой симфонии продолжается.

Это происходит в Ленинграде весной 1946 года. Я был еще маленьким, но отец взял меня на одну из репетиций, и я запомнил это на всю жизнь. За пультом стоял Евгений Александрович Мравинский, и я с восхищением смотрел на него, на то, как он управлялся с оркестром. И вот тогда, именно тогда, я твердо решил: когда вырасту, стану дирижером!

Я часто присутствовал на репетициях, куда приглашали моего отца. Он делал очень мало замечаний. Обычно это были лишь четыре слова: «громче», «тише», «медленнее», «быстрее»... Иногда он мог сказать и нечто большее, но лишь тем музыкантам, которым доверял, в чьем мастерстве и таланте не сомневался. Ес-

### III

ли же исполнитель ему был не по душе, он отделялся такими словами:

— Пошли дальше, пошли дальше...

**Нина ДОРЛИАК** (*невица, речь идет о работе над циклом «Из еврейской народной поэзии»*):

Странная черта была у Дмитрия Дмитриевича: по лицу его я видела, как он страдал, когда получалось плохо, но говорить об этом он никогда не решался. «Повторим еще раз», — это самая осуждающая фраза. Вот эта деликатность Дмитрия Дмитриевича делала работу очень напряженной и трудной, потому что мы слышали недочеты и говорили о них Дмитрию Дмитриевичу, а он либо отмалчивался, либо, по нашей просьбе, повторял, — но не те фразы, которые не выходили, а опять с начала до конца. <...> Он не очень любил, когда мы указывали на свои недостатки или на ошибки других, и неизменно повторял: «Все будет хорошо, все будет хорошо.» Изучив его манеру, все же можно было понять, когда он доволен и когда не доволен. В его ободряющих «очень хорошо, очень хорошо» после пропетого номера было много оттенков. Иногда эти «хорошо» были сказаны достаточно жестко и сухо. Волновала его выучка слов и вообще уверенность в исполнении. «Главное, не останавливаться, — говорил он, — ошибайтесь, но пойте дальше, пойте дальше.»

### III

Александр ГАУК (*дирижер*):

На репетициях Дмитрий Дмитриевич всегда спокойно (это, конечно, было внешним спокойствием) сидел в зале. Он не позволял себе никаких выкриков или нервничания, хорошо понимая, что репетиции служат для того, чтобы разучить новое произведение и ни в коем случае не являются показом. Все свои замечания он делал всегда в антракте и в самом деликатном тоне. Только в том случае, когда он находил опisku (в нотах), он позволял себе подходить к пульту, терпеливо ожидая ближайшей остановки, и тихонечко указывал на ошибку. Он всегда был предельно скромн. Многoму могли бы в этом отношении у него поучиться другие композиторы, которые требуют, чтобы оркестр и дирижер сразу же, на первой репетиции, исполняли сочинение как на концерте.

Клавдий ПТИЦА (*хормейстер*):

Вспоминается, как восторженно рассказывал Александр Васильевич Гаук о необычайном музыкальном слухе Шостаковича. На репетиции одной из симфоний Шостаковича, в Большом зале консерватории, когда шло первое *Allegro*, Александр Васильевич, стоящий за пультом, оглянулся и увидел, что композитор, болезненно сморщившись, спешит к нему: «Александр Васильевич, — говорил Дми-



трий Дмитриевич, — второй скрипач, на третьем пульте первых скрипок, сыграл вместо «фа» — «фа-диез»...» Так оно и оказалось.

Михаил АРДОВ:

Будучи еще юным, Дмитрий Дмитриевич признавал себя «требовательным и капризным автором». 13 мая далекого 1926 года он писал Б.Л. Яворскому: «Симфония вчера прошла очень удачно. Исполнение было превосходное. Успех огромный. Я выходил кланяться 5 раз. Все великолепно звучало. Немножко фальшивил 1-ый скрипач, играя solo. Но характер был верный. Виолончелист, наоборот, не фальшивил, но взял, как говорится, не тот тон. За исключением этого, все было в высшей степени хорошо. Я так рад, что невозможно выразить. Я сам получил от исполненья огромное удовольствие, а это уже очень много говорит. Я страшно требовательный и капризный автор. Если что-нибудь не так, то это равносильно уколам булавки, до того это мне бывает неприятно. Но вчера было удивительно хорошо.»

Не могу отказать себе в удовольствии сделать выписку из журнала «Новый мир» (№ 9, 2007). Там публикуются занятные новеллы под названием «Виньетки», принадлежащие перу филолога Александра Константиновича Жолковского. И вот среди прочего там приводит-

### III

ся рассказ его отчима — известного музыковеда, профессора Московской консерватории Льва Абрамовича Мазеля:

«Фортепианный квинтет Шостаковича был впервые исполнен в 1940 году в Малом зале консерватории автором с Квartetом им. Бетховена. На генеральной репетиции присутствовала музыкальная элита, в том числе Арам Хачатурян, бывший уже в чине зампреда оргкомитета Союза композиторов. Квинтет имел успех, и Хачатурян одним из первых поднялся на сцену поздравить автора. Но в свои похвалы он внес завистливо-перестраховочную ноту:

— Прекрасная музыка, Дмитрий Дмитриевич. Все великолепно, за исключением разве мелких технических погрешностей.

Заводить речь о технических недоработках у бесспорного мастера формы Хачатуряну, по слухам отдававшего оркестровать свои сочинения музыкальным неграм, не следовало.

— Да, да, технические погрешности, технические погрешности, надо их устранить, устранить, немедленно устранить.

Нервно жестикулируя, Шостакович стал созывать исполнителей:

— Дмитрий Михайлович, Василий Петрович, Сергей Петрович, Вадим Васильевич, в партитуру квинтета вкрались технические погрешности. Арам Ильич обнаружил досадные

### III

технические погрешности, технические погрешности. Сейчас он их нам покажет. Арам Ильич, пожалуйста, к инструменту. Нельзя допустить, чтобы свет увидело несовершенное сочинение, несовершенное сочинение.

Хачатурян всячески уворачивался, но Шостакович продолжал тащить его к роялю, сгребая вокруг него членов квартета, пока тому не удалось наконец вырваться из окружения и спастись бегством.»

**МАКСИМ:**

В сентябре 1962 года мы с отцом были в Эдинбурге на фестивале. Помню одну из репетиций: польский оркестр играл Восьмую симфонию. Там соло трубы, довольно продолжительное. И оркестрант сыграл это весьма фривольно, совсем не в том характере, как хотелось бы автору. Шостакович сидел в первом ряду и морщился. А дирижеру, наоборот, это очень понравилось, он повернулся к моему отцу и самодовольно спросил: «Добже?» И в ответ Шостакович крикнул ему, тоже по-польски: «Дуже не добже!»

# IV

ГАЛИНА:

В 1946 году была возобновлена аренда комаровской дачи, и с тех пор мы всякое лето жили на Карельском перешейке. Это был тот же самый просторный дом на Большом проспекте, который наша семья занимала еще до войны. Он стоит и по сию пору. В те годы поселок был гораздо уютнее, чем теперь.

Дмитрий ШОСТАКОВИЧ (*письмо к кинорежиссеру Л. Арнштаму*):

«Я живу прекрасно. Наслаждаюсь природой. Здесь хорошо, хотя и бывают дожди. Довольно часто бываю в городе. Интересует меня проблема легкого заработка, так как мои средства к существованию иссякли. Привыкши жить на широкую ногу, испытываю несо-

мненное неудобство, переходя на узкую ногу. В шаг жмет, как говорят работники иглы...»

**Борис ХАЙКИН:**

1946 год. Мы встретились на даче, на Карельском перешейке. Вечером я должен был развезти гостей по домам. На Карельском перешейке дороги еще не были реконструированы. Крутые спуски чередовались со столь же крутыми подъемами. Машина у меня была старая, довоенная, малоповоротливая. Рядом со мною села Галина Сергеевна Уланова, сзади — Д.Д. Шостакович и писатель А.Б. Мариенгоф. На одном особенно крутом спуске Мариенгоф наклонился ко мне и шепчет: «Вы чувствуете, кого вы везете? Вы понимаете, как сейчас могут кончиться две биографии?» (Нас было четверо. Но Мариенгоф говорил только о двух биографиях! Значит, мою и свою он совершенно правильно вывел за скобки.)

**Михаил АРДОВ:**

Коль скоро имя Анатолия Мариенгофа появилось на этих страницах, я хочу процитировать его мемуары («Бессмертная трилогия». М., 2000): «На девятнадцатом году революции Сталину пришла мысль (назовем это так) устроить в Ленинграде «чистку». Он изобрел способ, который казался ему тонким: обмен паспортов. И десяткам тысяч людей, главным

образом дворянам, стали отказывать в них. А эти дворяне давным-давно превратились в добросовестных советских служащих с дешевенькими портфелями из свиной кожи. За отказом в паспорте следовала немедленная высылка: либо поближе к тундре, либо к раскаленным пескам Каракума.

Ленинград плакал.

Незадолго до этого Шостакович получил новую квартиру. Она была раза в три больше его прежней на улице Марата. Не стоять же квартире пустой, голой. Шостакович наскреб немного денег, принес их Софье Васильевне и сказал:

— Пожалуйста, купи, мама, что-нибудь из мебели.

И уехал по делам в Москву, где пробыл недели две. А когда вернулся в новую квартиру, глазам своим не поверил: в комнатах стояли павловские и александровские стулья красного дерева, столики, шкаф, бюро. Почти в достаточном количестве.

— И все это, мама, ты купила на те гроши, что я тебе оставил?

— У нас, видишь ли, страшно подешевела мебель, — ответила Софья Васильевна.

— С чего бы?

— Дворян высылали. Ну, они в спешке чуть ли не даром отдавали вещи. Вот, скажем, это бюро раньше стоило...

И Софья Васильевна стала рассказывать, сколько раньше стоила такая и такая вещь и сколько теперь за нее заплачено.

Дмитрий Дмитриевич посерел. Тонкие губы его сжались.

— Боже мой!..

И, торопливо вынув из кармана записную книжку, он взял со стола карандаш.

— Сколько стоили эти стулья до несчастья, мама?.. А теперь сколько ты заплатила?.. Где ты их купила?.. А это бюро?...

А диван?... и т.д.

Софья Васильевна точно отвечала, не совсем понимая, для чего он ее об этом спрашивает.

Все записав своим острым, тонким, шатающимся почерком, Дмитрий Дмитриевич нервно вырвал из книжицы лист и сказал, передавая его матери:

— Я сейчас поеду раздобывать деньги. Хоть из-под земли. А завтра, мама, с утра ты развези их по этим адресам. У всех ведь остались в Ленинграде близкие люди. Они и перешлют деньги — туда, тем... Эти стулья раньше стоили полторы тысячи, ты их купила за четыреста, — верни тысячу сто... И за бюро, и за диван... За все... У людей, мама, несчастье, как же этим пользоваться?.. Правда, мама?..

— Я, разумеется, сделала все так, как хотел Митя, — сказала мне Софья Васильевна.»

ГАЛИНА:

В послевоенном Комарове, то есть тогда еще в Келомяках, были широкие ровные дороги, которые финны строили, а кроме того, великое множество узеньких тропинок, что выются между деревьями.

Во время велосипедных путешествий отец прививал нам культуру движения. Например, учил при каждом повороте показывать рукою ту сторону, куда собираешься свернуть, хотя на безлюдных и извилистых лесных дорожках это выглядело чрезмерной предосторожностью.

МАКСИМ:

Возле нашей дачи на скамейке сидит человек в поношенной, застиранной военной форме. Вид у него жалкий, он озирается и жадно кусает ломоть хлеба, держа его обеими руками. А я поглядываю на него с любопытством и затаенным страхом, ведь он — фашист, немец, пленный солдат германской армии.

Это одно из первых моих воспоминаний о Комарове, которое, впрочем, тогда — летом 1946 года — еще носило финское название Келомяки. Шло строительство Приморского шоссе, и на этих работах были заняты пленные немцы. Один из них иногда подходил к нашей даче и, ужасно стесняясь, просил пода-  
яния.



И вот однажды, когда я глядел на него, сидящего на нашей скамейке, ко мне приблизился отец. Он погладил меня по голове и стал говорить тихим голосом:

— Не бойся, ты его не бойся... Он — жертва войны. Война делает несчастными миллионы людей. Ведь он не виноват, что его забрали в армию и погнали воевать на русский фронт, в мясорубку. Ему еще повезло, он остался жив. Там, в Германии, его ждет жена. И, наверное, у них есть дети, такие же, как вы с Галей...

Наш отец ненавидел всякое насилие, тем паче войну. Он при мне рассказывал несколько раз старый, дореволюционный анекдот. Еврея из местечка взяли в армию и отправили на фронт. И как только раздались выстрелы противника, этот человек выскочил из окопа и закричал в сторону стрелявших немцев:

— Что вы делаете?! Здесь же живые люди!

Когда Шостакович рассказывал этот анекдот, он не улыбался, не смеялся. У него было трагическое выражение лица.

Михаил АРДОВ:

Я очень хорошо понимаю Максима. Вот одно из самых ярких моих воспоминаний, относящихся ко времени окончания войны. Мы с маленьким братом Борисом стоим перед высоким трехэтажным домом, с портиком и колоннами. Но здание не отштукатурено,

вовсю идет стройка. Это — поселок Баковка, под Москвой, здесь возводят особняк для певицы Лидии Руслановой и ее мужа, генерала В.В. Крюкова.

Мы с Борей смотрим на двух рабочих, несущих носилки с кирпичами. Вид у них мирный и покорный, одежда потрепанная... Но мы глядим на них с ужасом: ведь это — немцы, фашисты!

ГАЛИНА:

Я притаилась в кустах, а Максим лежит на дороге, возле своего брошенного на землю велосипеда...

Мне до сих пор стыдно, хотя с тех пор минуло более пятидесяти лет.

Происходило это в Комарове, около нашей дачи. Родители ушли к кому-то в гости, а мы с братом были предоставлены самим себе. Мы еще были маленькие и глупые, и вот Максиму пришлось в голову подшутить над мамой и папой. Дескать, он катался на велосипеде, и его сбила машина. И когда мы издали увидели возвращающихся родителей, брат улегся на дороге, приняв позу самую неестественную.

Легко себе представить, какова была реакция отца и матери. Они вовсе не смеялись нашему остроумию, мы оба были строго наказаны.

Вообще-то я никаких особенных наказаний не припомню. Если мы с братом были виноват

ты, мама укоризненно смотрела на нас, а отец начинал нервничать, курил. В определенном смысле это действовало сильнее криков и нотаций.

**МАКСИМ:**

Если я совершал какой-нибудь проступок, отец ужасно расстраивался. А когда что-нибудь такое повторялось, он произносил фразу, которая очень пугала:

— Зайди, пожалуйста, ко мне в кабинет, мне надо с тобой серьезно поговорить.

Я шел туда. Он мне говорил:

— Ты несколько раз обещал мне этого не делать, и вот опять...

Тут он доставал чистый лист бумаги и говорил:

— Пиши: я больше никогда не буду делать того-то и того-то... Так... Теперь распишись... Поставь сегодняшнее число.

Потом этот листок убирался в стол. И вот, если я еще раз совершал такой проступок, он опять звал меня в кабинет, доставал мою расписку и говорил:

— Вот твоя подпись, ты опять нарушил свое обещание...

И тут уже бывало так стыдно, не передать...

Отец терпеть не мог моих школьных и дворовых привычек. А в те времена мы все время друг с другом менялись — перочинные ножи,

## IV

рогатки и прочее в этом роде. И я помню, как давал такое письменное обязательство: «Не приносить домой предметов, принадлежащих другим лицам».

И еще такое. Я прибегаю домой:

— Папа, всего за тридцать рублей продается духовое ружье!

Он говорит:

— А мне его и за две копейки не надо!

Он реально себе представил, что будет у нас в доме, если я начну стрелять из духового ружья.

# V

ГАЛИНА:

Отец появляется в дверях:

— Кто взял мой красный карандаш?

Или:

— Где моя линейка?

Мы с Максимом смущенно переглядываемся и начинаем искать пропажу.

Подобные сцены повторялись и в Москве, и на даче.

Как известно, Шостакович сочинял музыку без рояля — он сидел за столом и писал ноты. И тут не требовалось соблюдать особенную тишину: могла залаять собака, проехать машина. Единственное, что его раздражало, — нарушение порядка. У него на рабочем столе лежали карандаши, ручка, линейка. А мы с Максимом то и дело таскали у него эти предметы.

**МАКСИМ:**

Шостакович не сочинял музыку в прямом смысле этого слова. Он слышал ее каким-то своим внутренним слухом и фиксировал на бумаге.

**Михаил АРДОВ:**

Это можно подтвердить собственными словами Дмитрия Дмитриевича. В молодости, в 1927 году в одном из ответов на предложенную анкету он писал:

«Часто наблюдается подсознательная музыкальная работа во время занятий житейского порядка... Во время творческого процесса преобладают, по-видимому, моменты рациональной обработки материала, хоть нередко случаи и подсознательного «завершения» не поддающихся «рациональной» обработке музыкальных моментов. Вообще же момент «иррационального» преобладает в начале творческого процесса, рациональный в последующих стадиях...»

А вот слова, произнесенные уже прославленным мастером ( это в свое время записал музыковед Виктор Виноградов):

«Вы спрашиваете, как я пишу? Ответ на этот вопрос определяется подготовленностью композитора, его творческим опытом, степенью увлеченности замыслом и другими условиями. Когда-то я писал предварительно

эскизы, темы, другие вдруг возникающие элементы, а потом уже выстраивал целое. Постепенно все менее зависел от бумаги — сочинял по кускам в уме. Теперь, как правило, сперва какое-то время обдумываю. Замысел в целом и в деталях приобретает в голове рельефные очертания. Тогда сажусь и пишу уже готовую музыку. Пишу быстро, но обдумываю порой очень долго.»

Герберт РАППОПОРТ (*постановщик фильма-оперетты «Москва-Черемушки»*):

Я пришел к нему вечером в гостиницу «Европейская». Застал гостей. Шостакович за столом что-то писал, отвечая на шутки. Всем было весело, мне — грустно, потому что надежда получить музыку для фильма пропала. Шостакович продолжал писать и разговаривал. Я поднялся, чтобы уйти. «Куда же вы?» — спросил Шостакович и протянул мне только что записанные нотные листы — новые фрагменты для «Черемушек». Так я оказался свидетелем чуда рождения музыки гением. Это были лучшие фрагменты.

МАКСИМ:

Когда я был маленький, я часто наблюдал, как отец сочиняет музыку. Он сидит и пишет. Я брал у него нотную бумагу и, подражая ему, начинал изображать точки с хвостиками. По-

том я подходил к отцу и говорил: «А теперь сыграй, что я написал». Отец безропотно сел за рояль и пытался исполнить ту абракадабру, которая выходила из-под моего детского пера. Мне такая музыка не нравилась, поскольку он честно играл именно то, что там было. И отец мне объяснял: «Чтобы сочинять настоящую, хорошую музыку, надо долго и упорно учиться». На мой вопрос: «А как учиться?» он неизменно говорил: «Для начала напиши вариации».

**ГАЛИНА:**

Ясный весенний день. В кабинете отца раскрыта форточка, и мне слышны голоса резвящихся на дворе детей. А я сижу за роялем, играю развеселую полечку, и по лицу моему текут горькие слезы.

В это время в комнату вошел отец. Мои слезы в сочетании с беззаботным напевом произвели на него впечатление, и с того самого дня прекратились мучительные для меня уроки музыки. Это стало уделом лишь брата Максима.

Сомнения в моей пригодности к музыкальной карьере появились у отца несколько ранее. Как только нас стали учить игре на рояле, он начал сочинять пьески для детей.

Первая была простенькая, вторая несколько сложнее. Отец решил их издать, но для этого опусы должны были быть приняты специаль-



ной комиссией в Союзе композиторов. И он решил, что играть там их буду я.

Первую пьеску я сыграла без запинки, а на второй сбилась. Начала еще раз и опять сбилась.

Тут отец не выдержал и заявил:

— Она все забыла... Я сейчас сам доиграю.

И он уселся на мое место у рояля.

До сих пор не могу забыть этот свой конфуз.

# VI

МАКСИМ:

В широком пролете лестницы раскачивается огромный концертный рояль. Кажется, что он сейчас упадет или ударится о перила. Шостакович хватается рукою за голову и покидает подъезд, выходит на улицу.

Так происходило наше переселение с улицы Кирова на Можайское шоссе. В 1946 году правительство издало распоряжение о том, чтобы предоставить Шостаковичу квартиру в новом доме на Можайском шоссе и дачу в подмосковном Болшеве. Квартира была даже не одна, а две — их объединили, пробив стенку. Вот тогда-то была, наконец, доставлена в Москву та мебель, что стояла в ленинградской квартире, в том числе два рояля — один концертный, другой кабинетный. Их было затруд-

## VI

нительно тащить на четвертый этаж, и рабочие прибегли к помощи канатов и лебедки...

Кстати сказать, концертный рояль отца вернулся на берега Невы. По моей просьбе его реставрировали, и теперь он стоит в моей петербургской квартире.

**Соломон ВОЛКОВ:**

В мае 1946 года Сталин осыпал Шостаковича материальными благами.

По указанию Сталина композитору позвонил сам Лаврентий Берия, в ту пору — правая рука диктатора, и известил, что Шостаковичу дают большую квартиру в Москве, зимнюю дачу, автомобиль и шестьдесят тысяч рублей. Шостакович от неожиданно щедрых подарков стал отнекиваться, доказывая, в частности, что может обойтись и без денежных субсидий: дескать, на жизнь привык зарабатывать себе сам. Берия, усмотрев почему-то в этих отнекиваниях композитора нарушение кавказского этикета, рассердился: «Но это же подарок! Если Сталин подарил бы мне свой старый костюм, я и то не стал бы отказываться, а поблагодарил бы его!»

В этой ситуации продолжать препирательство становилось небезопасным, и Шостакович был вынужден принять «царскую милость», хотя помнил — «бойся данайцев, дары приносящих». Буквально под диктовку Берии компо-

## VI

зитор написал Сталину благодарственное письмо: «Лаврентий Павлович сказал мне, что Вы отнеслись к моему положению очень сочувственно. Все мои дела налаживаются великолепно. В июне я получу квартиру из пяти комнат. В июле дачу в Кратово и, кроме того, получу 60000 рублей на обзаведение. Все это меня чрезвычайно обрадовало.»

От известных нам благодарностей вождю других советских культурных фигур письмо Шостаковича Сталину отличается своим подчеркнуто деловым тоном: оно напоминает расписку. Шостакович любил повторять, что старается следовать правилу — «ничему особенно не радуйся, ни от чего особенно не огорчайся.» Его психика всегда оперировала как сверхчуткий радар, жизнь в круге внимания Сталина делала композитора особенно нервным, заставляя в любой момент ожидать удара.

Как вспоминал приятель Шостаковича, композитор, празднуя встречу Нового, 1948 года, внезапно стал задумчивым, сказав: «Буюсь я этого високосного года, чувствую какую-то грозу.» Интуиция и на сей раз его не подвела.

Михаил АРДОВ:

Но я хочу мысленно вернуться в квартиру на Можайском шоссе, в кабинет Дмитрия

Дмитриевича, где находились два рояля. С этими инструментами у меня связана трагикомическая история.

Того далекого утра мне никогда не забыть.

Я открыл глаза и увидел перед собою два черных рояля. Именно то обстоятельство, что их было два, повергло меня в недоумение и тревогу.

Дело объяснялось очень просто. Я в очередной раз остался ночевать у Максима, и он уложил меня на диван в кабинете отца. Дмитрий Дмитриевич был на даче. Проснувшись, я не сразу вспомнил, что было накануне вечером, и долго глядел на эти два рояля, силясь понять, во сне я их вижу или наяву.

ГАЛИНА:

Я сижу рядом с отцом на скамейке и ужасно скучаю, в голове только одна мысль: «Когда это кончится?» А родитель мой оживлен, увлечен, азартен...

Это воспоминание относится к тому далекому дню, когда отец взял меня с собою на футбольный матч. Мне там было совершенно неинтересно, я в этой игре ничего не понимала, да и не стремилась понимать.

И вдруг на поле произошло нечто такое, что развлекло и рассмешило меня — от сильнейшего удара сломалась штанга ворот. На поле — замешательство, на трибунах — невероят-

ный восторг и крики. Вот почему я так надолго запомнила свой единственный поход на стадион.

Отец всю свою жизнь был горячим поклонником футбола. Он не только помнил фамилии игроков нескольких поколений, но и вел какие-то записи, составлял статистику матчей. И, будь он сейчас жив, я уверена, ему бы не составило особенного труда ответить на вопрос: в каком году, в какой день и на каком именно стадионе прошла запомнившаяся мне игра.

**Софья ХЕНТОВА:**

Увлекаясь футболом, Шостакович мечтал написать гимн этому виду спорта, а когда появился футбольный марш Блантера, с гордостью объявлял: «Вот что наш Мотя сочинил!» На почве футбола то и дело происходили случаи забавные.

Футбол свел его с Константином Есениным — пасынком Мейерхольда, помнившим Шостаковича со времен, когда композитор писал музыку к спектаклю «Клоп».

Ознакомившись с очередной статьей Константина Есенина, поднявшего футбольную статистику на высоту поэзии, Шостакович изложил ему письмом свои фактические поправки. Почерк, по обыкновению, был малоразборчив, подпись неясна, и Есенин

раздраженно позвонил по указанному в письме телефону:

— Есть у вас старичок, интересующийся футболом?

— Есть, — ответил женский голос. — Я сейчас позову.

Есенин вступил в запальчивую полемику с дотошным старичком. В конце разговора спросил:

— А как ваша фамилия?

И, услышав робкое «Шостакович», обомлел.

**Михаил АРДОВ:**

Матвей Яковлевич (Мотя) Блантер был близким приятелем моего отца, и мне известны обстоятельства, при которых появился на свет его знаменитый «Футбольный марш», столь восхищавший Шостаковича.

Блантер придумал мелодию, сыграл, но записать поленился — отложил это дело на завтра. На другой день он присел к роялю, но никак не мог вспомнить то, что сочинил накануне. Тогда он решил обратиться за помощью к своему сыну, который был дома, когда мелодия звучала.

— Володя, — сказал ему Блантер. — Ты помнишь, я вчера играл новый марш...

— Помню, — отозвался сын.

— Ты не можешь мне напомнить мелодию?

## VI

— Могу, — сказал тот. — Давай сто рублей.

— Как тебе не стыдно?! — возмутился родитель. — Ты что, не можешь бескорыстно помочь родному отцу?

— Давай сто рублей, помогу...

Блантер махнул рукой и решил самостоятельно вспомнить свое сочинение. Но, как он ни бился, проклятая мелодия не шла на ум. Тогда он плюнул, достал сторублевку и опять пошел в комнату к сыну. Тот взял купюру и напел марш, который так хорошо потом знали все любители футбола...

А еще мой отец свидетельствовал: звуки этой музыки самого Блантера отнюдь не радовали. Согласно тогдашнему закону, за те опусы, что исполнялись по радио, авторские отчисления не полагались. Это и раздражало Блантера — марш звучит чуть не каждый день, а дохода не приносит.

### МАКСИМ:

Папа был не только великим знатоком футбола, он был дипломированный футбольный судья. Это звание было ему присвоено еще до войны в Ленинграде. Он знал правила спортивных игр наизуток, любил судить состязания. Я уже упоминал, что в Иванове, в Доме творчества, именно он был неизменным судьей на соревнованиях по волейболу.



## VI

ГАЛИНА:

В 50-е годы отец отдыхал в правительственном санатории в Крыму, и там ему довелось судить теннисные соревнования. Среди тех, кто ежедневно выступал на кортах, был генерал армии Иван Александрович Серов, который тогда занимал должность председателя КГБ. Так вот, если главный чекист делал какой-нибудь промах, а потом выражал претензии, Шостакович неизменно осаживал его такой фразой: «С судьей не спорят!» Отец признавался: говорить эту сентенцию в лицо председателю КГБ было для него истинным наслаждением.

Михаил АРДОВ:

В одном из писем к И.И. Соллертинскому Шостакович описывает свое увлечение борьбой (10.04.1934, Иванов):

«Последние дни мы с Ниной ходили каждый день в цирк. Здесь сейчас происходит французская борьба. Каждый день борются три разных пары. Начинают они бороться в 10.30 вечера. Увлекательное зрелище. Во мне при этом зрелище пробуждается римлянин и я чувствую настоящий азарт при встрече Александра Циклопа (тяжелый вес) с любимцем рубрики Хаджи Муратом. Публика необыкновенно активно ведет себя во время борьбы. Свистит, ругается, рукоплещет и т.п.

## VI

Особенно неистовствует дамский пол. Оно и понятно. Сколько мне помнится, женщины всегда чувствовали слабость к борцам.»

За сим я хочу открыть читателям некий секрет, который, судя по всему, Дмитрию Дмитриевичу известен не был. Но для начала приведу выдержку из другого письма, которое Шостакович адресовал Соллертинскому (26.07.1930, Одесса):

«Утесов познакомил меня с директором цирка тов. Данкман. Узнал новость, что этот товарищ есть беспартийный товарищ. Тем не менее он производит достаточно сильное впечатление. <...> Очень любит детей (Данкман). Бывало увидит мальчика или девочку, так вся его нежная душа и затрепещет. Дарит им лошадок и акробатиков. Очень красивый человек. Несколько только мал ростом.»

Мой отец Виктор Ардов был хорошо знаком с Александром Морисовичем Данкманом. Он был не просто «директором цирка», а создателем и руководителем ГОМЭЦа. (Если не ошибаюсь, это расшифровывалось так: Государственное объединение музыки, эстрады и цирков.)

Данкман никогда не состоял в большевистской партии (факт, отмеченный Шостаковичем), а потому в тридцатых годах он не мог быть номинальным руководителем своего учреждения. Он принужден был довольствоваться

## VI

ся должностью заместителя директора, а начальником числился коммунист. Сначала это был какой-то латыш. Делами своей конторы он вовсе не занимался, а поскольку в те годы шла сталинская коллективизация, то его все время отправляли в подмосковные деревни, где надо было организовывать колхозы. После каждой такой командировки он привозил протокол, который выглядел примерно так:

«Мы, нижеподписавшиеся крестьяне деревни Черная Грязь, на общем собрании постановили объединиться в колхоз имени Розы Люксембург и Карла Либкнехта.»

По какой-то причине этот латыш проникся доверием к своему заместителю и чувства свои выразил весьма своеобразно. Вернувшись из очередной командировки, он привез такой протокол:

«Мы, крестьяне деревни Ивановки, на общем собрании решили объединиться в колхоз имени тов. А.М. Данкмана.»

Александр Морисович поблагодарил управляющего за оказанную ему часть, а копию протокола отослал в Московский комитет ВКП(б). На другой день наивного латыша уволили.

Дольше всех в должности управляющего ГОМЭЦа пробыл старый большевик по фамилии Ганецкий. У них с Данкманом была общая секретарша.

## VI

Вот появляется посетитель.

— Могу я видеть товарища Ганецкого?

Секретарша спрашивает:

— А вы по какому вопросу?

— Я — по делу.

— Ах, по делу?.. Тогда, пожалуйста, в этот кабинет к Данкману...

В те годы по инициативе Данкмана в цирке впервые после дореволюционных времен стали проводиться «чемпионаты по борьбе». У публики, как можно судить и по письму Шостаковича, это имело огромный успех. Но вот однажды Ганецкий призвал своего заместителя.

— Александр Морисович, — с возмущением заговорил управляющий, — я только что узнал, что наша цирковая борьба — сплошное жульничество!..

— То есть как — жульничество?

— Да так! Оказывается, это — не настоящие чемпионы. Там заранее известно, кто кого и на какой минуте положит на лопатки... И даже каким именно приемом!.. Это же обман!..

— Простите, — сказал Данкман, — вы когда-нибудь слушали оперу «Евгений Онегин»?

— Да, слушал...

— Так вот, когда вы идете в театр на эту оперу, вы прекрасно знаете, что там будет сцена дуэли и в определенный момент спектакля Онегин застрелит Ленского. И ведь это вас ни сколько не возмущает...

# VII

МАКСИМ:

Стол накрыт белой скатертью и сервирован с большим изяществом. У бабушки, матери отца Софьи Васильевны, — парадный обед. Среди приглашенных — наши родители, мы с сестрой и самый главный гость — Михаил Михайлович Зощенко.

Помнится, во время этого обеда я смотрел на него с особенным любопытством. Отец часто говорил о нем, цитировал его рассказы. И при этом упоминал, что Зощенко очень смешно пишет, но сам никогда не улыбается.

Михаил Михайлович был дружен с бабушкой Софьей Васильевной, высоко ценил и уважал Шостаковича. Наш отец отвечал ему взаимностью, однако же особенной душевной близости у них не было, слишком разные это были характеры.

И вот еще какое соображение. Зощенко был довольно далек от музыкального мира и по этой причине не мог оценить в полной мере композиторский талант Шостаковича. В противоположность этому наш отец прекрасно знал русскую литературу, очень любил Гоголя, Достоевского, Лескова, Салтыкова-Щедрина, Чехова и, разумеется, понимал все величие Зощенко.

Михаил ЗОЩЕНКО (*письмо к Мариэтте Шагинян от 4 января 1941 года*):

«Я очень люблю Д.Дм. Он Вам правильно сказал, что я хорошо к нему отношусь. Я знаю его давно, лет, вероятно, 15—16. Но дружбы у нас не получилось. Впрочем, я не искал этой дружбы, потому что видел, что этого не могло быть. Всякий раз, когда мы оставались вдвоем, нам было нелегко. Наши токи не соединялись. Они производили взрыв. Мы оба чрезвычайно нервничали (внутренне, конечно). И, хотя мы встречались часто, нам ни разу не удалось по-настоящему и тепло поговорить. <...>

Это очень хорошо, что Вам так понравился Шостакович. Ваши впечатления о нем — правильные, но не совсем. Вам казалось, что он — хрупкий, ломкий и уходящий в себе бесконечно непосредственный, чистый ребенок. Он именно то, что Вы говорите, но при том жесткий, едкий, чрезвычайно умный, деспотич-

## VII

ный и не совсем добрый. Вот в таком сочетании надо его увидеть, и тогда в какой-то мере можно понять его искусство.

Михаил АРДОВ:

Взаимная симпатия и уважение друг к другу, которые испытывали Шостакович и Зощенко, весьма показательны: в судьбе этих гениально одаренных людей было много общего. Каждый из них был первым в своем жанре — Дмитрий Дмитриевич бесспорно лучший из современных ему композиторов, а Михаил Михайлович — самый талантливый писатель. Оба удостоились громкой и всеобъемлющей прижизненной славы. Оба стояли на краю гибели, каждый из них был дважды ошельмован беспощадным советским режимом: Шостакович в 1936-м и 1948-м, а Зощенко в 1946-м и в 1954-м.

Но между ними была и колоссальная разница. Шостакович все понимал и реально оценивал преступную большевистскую власть, а Зощенко, подобно многим интеллигентам своего поколения, верил, вернее заставлял себя верить, в кровавую коммунистическую утопию. И можно с полным основанием утверждать, что именно эта вера, в конце концов, привела его к безвременной и мучительной кончине.

В 1936 году, когда разразился скандал в связи с постановкой оперы «Леди Макбет

## VII

Мценского уезда», Дмитрий Дмитриевич не поддавался запугиванию и давлению властей, он не унился до публичного самобичевания. В 1948 году, когда вышло постановление ЦК «Об опере «Великая дружба» Мурадели», ему не удалось этого избежать, но, повторяю, Шостакович прекрасно понимал сущность преступного режима и не строил себе никаких иллюзий. За два года до того Зощенко попал в точно такую же ситуацию — стал мишенью разгромного «Постановления ЦК», но он повел себя как человек крайне наивный. Михаил Михайлович решился писать наиглавнейшему палачу — Сталину, и это письмо невозможно читать без горечи и стыда:

*«Дорогой Иосиф Виссарионович!*

Я никогда не был антисоветским человеком. В 1918 году я добровольцем пошел в Красную Армию и полгода пробыл на фронте, сражаясь против белогвардейских войск.

Я происходил из дворянской семьи, но никогда у меня не было двух мнений — с кем мне идти — с народом или с помещиками. Я всегда шел с народом. И этого от меня никто не отнимет...

Однако меня самого никогда не удовлетворяла моя сатирическая позиция в литературе. И я всегда стремился к изображению положительных сторон жизни. Но это было нелегко сделать — так же трудно, как комическому акте-



## VII

ру играть героические образы. Можно вспомнить Гоголя, который не смог перейти на положительные образы...

Прошу мне поверить — я ничего не ищу и не прошу никаких улучшений в моей судьбе. А если и пишу Вам, то с единственной целью несколько облегчить свою боль. Я никогда не был литературным пройдохой или низким человеком, или человеком, который отдавал свой труд на благо помещиков и банкиров. Это ошибка. Уверяю Вас.

*Мих. Зощенко»*

В 1954 году над головою бедного Михаила Михайловича разразилась новая гроза. Он позволил себе прилюдно, в присутствии иностранцев усомниться в абсолютной правоте все того же позорного «Постановления ЦК» сорок шестого года. И над ним учинили еще одну публичную расправу. Состоялось собрание Ленинградской писательской организации, на которое для пущей важности прибыли московские начальники — К.Симонов и А.Первенцев.

Зощенко выступил там с поразительной речью. Это было, так сказать, его последнее слово. И не только в качестве подсудимого, но и вообще — самое последнее, после этого он, кажется, уже никогда не выступал публично.

Но — увы! — даже эту свою прощальную, отчаянную речь он, бедняга, начинает с того,

## VII

что еще раз декларирует свою принадлежность к продажной советской литературе, к омерзительному клану советских литераторов.

«В моем заявлении с просьбой восстановить меня в Союзе писателей я писал, что во многом ошибался, делал оплошности, но я не согласен с тем, что я не советский писатель и никогда им не был. Это было основное обвинение в докладе — именно в том, что я не советский писатель, — не могу согласиться!»

Финал его речи потрясает душу. Это один из самых трагических документов за всю историю русской литературы.

«Я не был никогда непатриотом своей страны. Не могу согласиться с этим. Не могу! Вот здесь, мои товарищи, на ваших глазах прошла моя писательская жизнь. Вы же все знаете меня, знаете много лет, знаете, как я жил, как работал, что вы хотите от меня? Чтобы я признался, что я трус? Вы этого требуете? По-вашему, я должен признаться в том, что я мещанин и пошляк, что у меня низкая душонка? Что я бессовестный хулиган? Это требуете вы? Вы!.. Я могу сказать — моя литературная жизнь и судьба при такой ситуации закончены. У меня нет выхода. Сатирик должен быть морально чистым человеком, а я унижен, как последний сукин сын... Я думал, что это забудется. Это не забылось. И через несколько лет

## VII

мне задают тот же вопрос. Не только враги. И читатели. Значит, это так и будет, не забылось. У меня нет ничего в дальнейшем. Ничего. Я не собираюсь ничего просить. Не надо мне вашего снисхождения, ни вашей брани и криков. Я больше чем устал. Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую я имею».

У меня есть дневниковая запись о Зощенке, сделал я ее летом 1958 года:

«Второй раз в жизни я видел Михаила Михайловича за четыре месяца до его смерти. Я знал, что он придет на Ордынку, и ждал его. Еще раньше я попросил отца дать мне одну из книг Зощенки, чтобы он надписал ее лично мне.

Меня тогда поразило, насколько плохо стал Михаил Михайлович разговаривать. Слова у него выходили с трудом, как будто ему было больно их из себя выталкивать. Общий разговор из-за этого очень затруднялся.

Когда стали ужинать, я, до того сидевший в углу комнаты, придвинулся к столу и сел около Зощенки. Моя мать сказала ему, что я его большой поклонник и, как она выразилась, знаток. Он впервые взглянул на меня с интересом и сказал, что, если бы знал об этом, сделал бы мне на книге более теплую надпись».

Тут я прерываю свою старую запись, чтобы сделать некоторое дополнение. Мать впоследствии вспоминала, что между нею и Зощенкой состоялся такой краткий диалог:

## VII

— Миша, почему вы ничего не едите?

— Видите ли, Ниночка, какая странная история: мне все время кажется, что я отравлюсь.

Возвращаюсь к своей записи:

«Когда Михаил Михайлович стал прощаться, я вызвался проводить его до метро. Он сначала отказывался, но когда мать поддержала просьбу, согласился.

Мы вышли в мокрую и холодную весеннюю ночь. Он спросил меня, правда ли, что я таким интересуюсь. Я ответил, что он мой любимый писатель и, если время позволит, я буду писать о его творчестве. Он спросил меня, знаю ли я его повести, на что я ответил, что знаю и люблю.

На прощание он обещал надписать мне книжку, которую вот-вот должны были выпустить, и сказал, что если я ее не достану, то он сам пришлет мне.

И теперь, через несколько дней после того, как я достал эту книжку, его не стало...»

А еще я вспоминаю такую сценку, дело происходило в 1959 году. Мой отец сидит в своем кресле в нашей столовой на Ордынке и, прихлебывая чай, просматривает газеты.

— Послушай, — говорю я ему, — сегодня двадцать второе июля, ровно год со дня смерти Зощенки. В приличной стране уже начало бы выходить полное собрание сочинений.

## VIII

— В приличной стране, — отзывается отец, — он был бы еще жив.

**МАКСИМ:**

Исаак Давыдович Гликман свидетельствует, что в десятилетнюю годовщину со дня смерти Зоценки они с Шостаковичем поехали на его могилу в Сестрорецк. Гликман запомнил такие слова нашего отца:

— Он безвременно умер, но как хорошо, что он пережил своих палачей — Сталина и Жданова.

А еще я помню, как отец время от времени произносил такую фразу:

— Все что угодно отдам за шеститомник Зоценки.

# IX

ГАЛИНА:

Наша бабушка Софья Васильевна была очень активным человеком. В 1946 году она взялась помогать Зощенко, собирала для него деньги — ведь его совершенно перестали печатать и лишили всяких средств к существованию. Бабушка была общительная, веселая, часто бывала на концертах, и не только когда играли Шостаковича. Она прекрасно знала литературу, интересы у нее были самые разнообразные. Дома у нее — полно народу, кто-то приходит, кто-то уходит. Обязательно кто-то ночует. Она была собирательницей людей.

В этом отношении она была полной противоположностью своему сыну.

Шостакович по натуре не был ни общительным, ни разговорчивым. Посторонние люди,

## IX

если присутствовали в доме, создавали для него некое неудобство. Он с детства учил нас правилам общения с друзьями и знакомыми:

— Никому нельзя звонить после десяти вечера или ранее десяти утра. Нельзя приходить в гости без звонка или приглашения. Если вам говорят: «Как-нибудь заезжайте», это еще не означает, что вас пригласили. Приглашают на определенное число и к определенному часу.

Вот он сам зовет кого-нибудь из друзей на обед. Например, Хачатуряна с женой. За столом обстановка самая непринужденная — шутки, смех. Но застолье не может быть бесконечным — если обед начался, предположим, в 15 часов, то в 17 он закончится. И все друзья это прекрасно понимали. Для тех, кто засиживался сверх всякой меры, у нас в семье был специальный термин: «Каменный гость». А еще отец иногда говорил: «Бойся гостя не сидящего, а уходящего!» Он очень не любил, когда кто-то уже стоит в прихожей и продолжает разговаривать.

При этом мама наша была общительным человеком. Я вспоминаю дачу в Комарове. На первом этаже мама сидит с гостями, отец наверху сочиняет музыку. Вот он спускается вниз, присаживается к столу, прислушивается к разговору... И минуты через три опять уходит к себе на второй этаж.

МАКСИМ:

В прежние годы в Комарове существовал так называемый «Детский оздоровительный сектор». И вот как-то раз у меня заболел зуб, отец взял меня за руку и повел в этот самый сектор. Там был дантист, меня поместили в кресло, папа уселся возле двери в кабинет этого врача.

День, я помню, был жаркий, и окно было открыто.

Началось сверление моего зуба, я почувствовал боль невероятную. Терпеть не было сил, я выскользнул из кресла, рванулся к окну, выскочил наружу и помчался домой. А отец, весьма обескураженный происшедшим, вернулся несколько позже.

Потом он признался, что с ним, уже взрослым, был такой же в точности случай. Некий дантист тоже причинил ему сильную боль, Шостакович оттолкнул врача ногами и, подобно мне, удрал из лечебницы. Но это совершенно нетипичное происшествие. Будучи человеком по натуре весьма аккуратным, наш отец — надо не надо — раз в два месяца ходил к дантисту. С такой же регулярностью он посещал и парикмахерскую. На письменном столе у него был перекидной календарь, где загодя были отмечены дни, в которые надлежит проверять состояние зубов или стричь волосы.



Михаил АРДОВ:

Со слов Максима я запомнил такую историю.

Все семейство Шостаковичей долгие годы пользовалось услугами частной зубной врачихи, дамы с какой-то затейливой двойной фамилией. Она практиковала в своей крошечной квартирке, где прихожая была также местом ожидания для пациентов, а единственная комната служила и жильем, и кабинетом. Вместе с дантисткой там проживала старая прислуга, которая исполняла обязанности санитарки.

Как-то Максим проснулся утром с острой зубной болью. Он решил отложить все дела, сел в машину и поехал к врачихе. Войдя в прихожую, он застал там обычную картину. На диванчике сидели две пожилые женщины и тихонечко переговаривались. Очевидно, ждали своей очереди. Максим тоже присел на стул.

Через некоторое время из комнаты вышла прислуга и обратилась прямо к нему:

— Ну что же вы здесь сидите?! Проходите, пожалуйста...

Максим последовал за ней, но так и замер на пороге. Посреди комнаты он увидел стол, а на нем гроб, в котором лежала старая дантистка. Постояв несколько минут, мой приятель повернулся и отбыл с зубной болью восвояси...

**ГАЛИНА:**

В настольном календаре Шостаковича были отмечены дни рождения родственников, друзей, коллег, и отец никогда не забывал отправлять им поздравительные телеграммы и открытки. Он внимательно следил за четкостью работы почты. Когда появилась подмосковная дача, он отправил туда открытку на собственное имя, дабы проверить, дойдет ли она туда и как скоро.

**МАКСИМ:**

Шостакович, что называется, не играл в «гениальность», это ему претило. Он никогда не сохранял ни своих, ни чужих писем, а уж тем паче выкидывал в корзину листки своего перекидного календаря. И теперь можно только пожалеть об этом. Ведь там были записаны не только дни рождения друзей и рутинные дела, но и то, что относилось к творчеству. Например, исправить в таком-то опусе такое-то место, проверить партию альты, и т.д., и т.п.

**Михаил АРДОВ:**

Максим абсолютно точно выразился: Дмитрий Дмитриевич (он, конечно, знал себе цену) в «гениальность не играл» и к тем, кто позволял себе нечто подобное, относился иронически.

Это можно подтвердить документально. В начале 1928 года Шостакович работал в театре В.Э. Мейерхольда и жил в квартире великого режиссера и его жены — Зинаиды Райх, которая ранее была замужем за Сергеем Есениным.

Дмитрий ШОСТАКОВИЧ (*письмо И.И. Соллертинскому от 10.01.1928*):

«А здесь я живу в обстановке гениев. Гениальный режиссер, «гениальная актриса» («Ах, Зинка! Как ты вчера играла. Это было гениально»), «гениального» композитора и «гениальной» поэтессы. Двое последних суть дети «гениального» поэта Есенина и «гениальной» актрисы. Мальчишка (композитор) действует мне на нервы. Тычет клавиши у рояля, а Мейерхольд говорит: «А ведь чувствуется сразу что-то незаурядное.» Девочка читает стихи:

*Кошечка играла.  
Девочка плясала.  
Подошел Барбос,  
Укусил кошечку за нос.  
Кошечка заплакала,  
Собачка залаяла, etc.*

Зинаида Райх сдобным голосом вещает: «Это совершенно замечательно! Она унасле-

## IX

довала душистую музу своего отца. Ах Сергей, Сергей! Ах Есенин, Есенин!»

«Молодцы ребята. Молодцы, — говорит В.Э. — Шостакович! Верно, молодцы» «Верно».

Райх: «А скажите, Дима? (так меня здесь зовут). Вот ведь Таня унаследовала талант отца, но в кого Костя пошел таким талантливым музыкантом?»

Мейерхольд: «В тебя.»

Райх: «Почему в меня. Я ведь актриса, а не музыкантша.»

Мейерхольд: «Ты актриса. Ты познала до конца, что такое Слово. А там, где кончается Слово, начинается Музыка, сказал Гейне. Верно, Дима?»

Он слегка поеживается. Часто спрашивает: «Верно, Дима? А? Что?» Я угрюмо молчу и соглашаюсь.»

# Х

**ГАЛИНА:**

Отец ходит по квартире из комнаты в комнату и непрерывно курит. С мамой они почти не разговаривают. Мы с Максимом тоже молчим, в такие моменты вопросы задавать не принято...

Это — зима сорок восьмого года. Мне почти двенадцать, Максиму — десять. Читать мы умели, и знали, что во всех газетах перевозносятся «историческое постановление Центрального Комитета партии «Об опере «Великая дружба» В.Мурадели», а музыку Шостаковича и прочих «формалистов» бранят на все лады.

Максим учился в музыкальной школе, где «историческое постановление» штудировалось. Учитывая это, родители решили, что лучше ему некоторое время в класс не ходить. По этой причине я ему завидовала. У меня-то

была самая обычная советская школа, и на уроках в нашем шестом классе о постановлении ЦК даже и не упоминали.

А последствия этого «исторического документа» ждать себя не заставили: симфонические оркестры перестали исполнять сочинения Шостаковича, и, чтобы кормить семью, отец был принужден писать музыку к кинофильмам, а этого он, надо сказать, не любил. Кроме того, его изгнали из преподавательского состава консерватории, и наша семья лишилась возможности пользоваться правительственной поликлиникой.

Атмосфера в те дни была очень тревожная...

**Соломон ВОЛКОВ:**

11 февраля 1948 года в газете «Правда» появилось постановление ЦК ВКП (б) от 10 февраля «Об опере «Великая дружба» В.Мурадели». Это был классический сталинский документ, подытоживавший взгляды и указания вождя по поводу текущей культурной ситуации.

<...> Перечислены были Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Арам Хачатурян, Виссарион Шебалин, Гавриил Попов и Николай Мясковскаяй — именно в таком, совершенно очевидно не соответствовавшем алфавиту порядке.

В советское время ритуальное значение подобных списков было огромным: они, при

## Х

полном отсутствии какой бы то ни было объяснительной информации, давали наиболее ясное представление о месте и оценке человека в социальной иерархии — как со знаком плюс, так и со знаком минус.

Известно, что Сталин уделял таким вещам много внимания. Из опубликованных ныне секретных предварительных меморандумов видно, что список «формалистов» утрясался до самой последней минуты: первым в нем оказывался то Прокофьев, то Мясковский, да и состав менялся. Итоговое появление имени Шостаковича первым несомненно отражало мнение Сталина о степени ответственности композитора за, как было сказано в постановлении, «распространение среди деятелей советской музыкальной культуры чуждых ей тенденций, ведущих к тупику в развитии музыки, к ликвидации музыкального искусства.»

Обо всем этом Шостакович, как стало недавно известно, узнал, как говорят американцы, «из уст лошади». 11 февраля в 6 утра ему позвонил секретарь Сталина Александр Поскребышев и вызвал в Кремль. Сталин распорядился, чтобы Поскребышев лично прочитал Шостаковичу текст партийного постановления.

Эта сталинская акция была, как всегда у вождя, двусмысленной и иезуитской. С одной стороны, она сигнализировала о персональ-

ном внимании вождя. С другой стороны, смахивала на садистскую порку по принципу «бьют и плакать не дают». Заодно Сталин, вероятно, хотел узнать от Поскребышева, как Шостакович эту порку воспримет.

Мимозно чувствительный Шостакович все это, разумеется, ощутил, как глубочайшее унижение. Он вспоминал позднее, что, пока Поскребышев читал ему постановление, он не мог смотреть ему в лицо, изучая вместо этого кончики желтых кожаных ботинок сталинского секретаря.

(У этой малоприятной истории был скорее комический эпилог. В 1956 году, уже после смерти Сталина, Шостакович пришел за лекарством для своей сестры в аптеку, которая обслуживала ВИП-ов. Стоя в очереди, он вдруг услышал знакомый голос: «Дмитрий Дмитриевич, что же это вы забываете старых друзей?» Лицо говорившего было Шостаковичу незнакомо, но зато он сразу узнал его желтые ботинки. Да, все в тех же ботинках (видно, заграничная кожа оказалась очень прочной) перед ним стоял бывший секретарь Сталина Поскребышев! Тут же в очереди Поскребышев успел рассказать Шостаковичу, что тоже стал жертвой культа личности: незадолго до смерти Сталина его отстранили от дел и чуть не арестовали, а вот теперь он на заслуженной пенсии.)



Михаил АРДОВ:

Я много раз слышал такую историю. В те дни, когда готовилось это самое «постановление ЦК», главный сталинский надсмотрщик над литературой и искусством Жданов собрал всех ведущих советских композиторов (в их числе были Шостакович и Прокофьев). И вот партийный функционер сам уселся за рояль и продемонстрировал им, что именно должно считать музыкой формалистической, а что — реалистической.

В те времена были и такие холуи, которых эта сцена не возмущала, а восхищала. «Представьте себе, — говорили они, — член Политбюро ЦК — и умеет играть на рояле!»

Слыша такое, мой отец негодовал:

— Идиоты, от чего они приходят в восторг?! Подумаешь, он умеет бренчать на фортепиано... Я понимаю, если бы кто-нибудь сказал: «Наш дворник умеет играть на рояле!» Вот это было бы удивительно. А тут — член Политбюро, он обязан быть культурным человеком. И какая наглость — Жданов не постеснялся играть в присутствии Шостаковича и Прокофьева!

Впрочем теперь можно с определенностью утверждать, что тут мы имеем дело с легендой.

## Х

**Соломон ВОЛКОВ:**

Широкое распространение получила история о том, что на совещании Жданов, желая показать Шостаковичу и Прокофьеву, как звучит настоящая музыка, садился за рояль и что-то наигрывал. Эренбург даже написал об этом в своих опубликованных в 1965 году мемуарах. Писатель немедленно получил гневное письмо от Шостаковича: «Жданов к роялю не подсаживался, а обучал композиторов методами своего красноречия.»

**Михаил АРДОВ:**

19 апреля 1948 года открылся Первый Всесоюзный съезд советских композиторов. С докладом «Тридцать лет советской музыки и задачи советских композиторов» выступил Тихон Хренников.

Вот несколько цитат из доклада:

«Смакованию банального, пошлого, ничтожного молодой Шостакович, следуя примеру западных «мастеров» гротеска, уделял много сил, в частности, в своих балетах на советские темы...»

«Грубейший физиологический натурализм и экспрессионистически-болезненная преувеличенность с особой яркостью проявились в двух операх Шостаковича «Нос» и «Леди Макбет»...»

«7-я симфония Шостаковича показала, что музыкальное мышление Шостаковича оказалось более действенным для выражения зловещих образов фашизма и мира субъективной рефлексии, чем для воплощения положительных образов нашей современности. Интонационная отвлеченность, космополитизм музыкального языка Шостаковича, который во время войны не поставил перед собой задачи приближения к национальной музыкальной речи, послужили преградой к длительной популярности 7-й симфонии среди советского народа...»

Михаил АРДОВ:

И все же были у Шостаковича среди музыкантов верные и преданные друзья. Мне хочется привести небольшую цитату из дневника некоей Зои Апетовны Апетян, которая в те страшные времена работала в Комитете по делам и искусств и имела отношение к «закупочной комиссии». В записи от 17 марта 1951 года эта дама пишет о Левоне Тадевосоиче Автомьяне: «Он стал утверждать, что «всякое произведение, выходящее из-под пера Шостаковича, нужно покупать». Мы пробовали доказывать ему, что такая точка зрения ошибочна. На этом и кончился наш разговор. Меня удивляет до какой степени Атомьян любит Шостаковича, несмотря на все постановления и

решения, от которых он сам тяжело пострадал. Ведь будучи одним из руководителей Музфонда, он всячески материально поддерживал всех упомянутых в постановлении (Прокофьева, Шостаковича, Попова, Мясковского, Шебалина, Хачатуряна)».

### МАКСИМ:

Когда мы были маленькими, то иногда обращались к отцу с вопросом: куда пропал такой-то наш знакомый или такой-то? У него для нас был весьма короткий ответ: «Он хотел восстановить капитализм в России». Но как только мы немного подросли, стали разбираться в ситуации. Был арестован и погиб муж старшей сестры отца Всеволод Фредерикс, его жена Мария Дмитриевна выслана из Ленинграда. В свое время подверглась аресту и наша бабушка со стороны матери — Софья Михайловна Варзар.

Начиная с 30-х годов и до самой смерти Сталина отец жил под угрозой ареста и гибели. От этого не могла спасти ни лояльность режиму, ни гениальная одаренность — судьба поэта Осипа Мандельштама или режиссера Всеволода Мейерхольда наглядный в этих отношениях пример.

Как известно, среди поклонников Шостаковича был расстрелянный по приказу Сталина маршал Михаил Тухачевский, они иногда с от-

цом общались. Композитор Вениамин Баснер рассказал мне со слов отца такую историю. Однажды, после того как он побывал в гостях у Тухачевского, Шостаковича вызвали в «Большой дом», то есть в ленинградское управление НКВД. На допросе следователь его спросил: «Вы были у Тухачевского. Вы слышали, как Тухачевский обсуждал с гостями план убийства товарища Сталина?» Отец стал отнекиваться. «А вы подумайте, вы припомните, — говорит следователь. — Некоторые из тех, кто был с вами в гостях у Тухачевского, уже дали нам показания». Отец продолжал утверждать, что ничего такого не было, что он ничего не помнит. «А я вам настоятельно рекомендую вспомнить этот разговор, — сказал следователь с угрозой. — Я даю вам срок до одиннадцати часов утра. Завтра придете ко мне еще раз, и мы продолжим беседу...» Отец вернулся домой ни жив ни мертв. Он решил, что показаний против Тухачевского не даст, и стал готовиться к аресту. Утром он снова явился в «Большой дом», получил пропуск и уселся возле кабинета того самого следователя. Проходит час, другой, а его не вызывают. Наконец, какой-то чекист, который шел по коридору, обратился к нему: «Что вы тут сидите? Я смотрю, вы здесь уже очень давно». — «Жду, — отвечает отец. — Меня должен вызвать следователь Н.» — «Н.? — переспросил чекист. — Ну, так вы

его не дождетесь. Его вчера ночью арестовали. Отправляйтесь-ка домой».

Так что, без преувеличения, можно утверждать: Шостакович тогда чудом избежал ареста.

**Род и он ЩЕДРИН** (*композитор*):

Шостакович жил в государстве, которое дышало страхом. У него же все близкие были посажены. Он дружил с Тухачевским, и тот написал Сталину письмо в защиту Шостаковича, после статьи «Сумбур вместо музыки». Уже одного этого хватило бы, чтобы Дмитрия Дмитриевича посадить. Шостакович приезжал в Москву, останавливался у Мейерхольда, в той самой квартире, где потом убили Зинаиду Райх. И этого достало бы, чтобы его не только посадили, но и убили...

**ГАЛИНА:**

«Дом отдыха суда и прокуратуры» — такая вывеска красовалась на старом финском доме, который соседствовал с нашей дачей в Комарове. А потом это заведение стало именоваться по-другому: «Дом отдыха госучреждений». Но эта перемена никак не отразилась на интеллектуальном и нравственном уровне тех, кто там пребывал, — мелких служащих так называемых карательных органов. То есть соседство было не из приятных, и в особенности это проявилось летом 1948 года, когда Шоста-

кович был ошельмован во всех газетах и объявлен «формалистом», почти врагом народа.

Работники «госучреждений» в выражении своих верноподданнических чувств несколько не стеснялись: из-за забора доносились оскорбительные выкрики, на наш участок швыряли всякую дрянь. И тут надо отдать должное Максиму — он вступался за честь отца.

### МАКСИМ:

В те годы еще свежа была память о финской войне, которая проходила именно в тех местах, где была наша дача, — на Карельском перешейке. Мы знали, что самую большую опасность для советских солдат во время той войны представляли финские снайперы. Их называли «кукушками», поскольку они прятались в кронах деревьев, и обнаруживать их было чрезвычайно трудно.

На нашем комаровском участке росла высокая сосна, ствол которой был раздвоен у вершины. Именно там я укрепил небольшую доску, чтобы сидеть, и соорудил себе рогатку, из которой стрелял камнями в наших обидчиков.

Но зловредные соседи досаждали Шостаковичу не только бранными криками. На их участке был громкоговоритель, который оглашал окрестности с шести часов утра и до двенадцати ночи, там звучали помпезно-хвастливые со-

ветские радиoproграммы. Это мешало моему отцу сочинять музыку, и мне приходилось стрелять из рогатки не только по соседям, но и по репродуктору. Иногда мне удавалось выводить его из строя, и он на какое-то время умолкал.

### АНАТОЛИЙ МАРИЕНГОФ:

Это было в конце сталинских сороковых годов. Комарово. Почему-то не льет дождь. Я прихожу на вокзал, чтобы встретить жену. Она обещала вернуться с пятичасовым, но задержалась на репетиции, и вместо нее я неожиданно встретил Шостаковича.

— Зайдем, Анатолий Борисович, в шалман.

Он своими тремя столиками раскинулся напротив станции.

— Выпьем по сто грамм. У меня сегодня большой день.

И Дмитрий Дмитриевич улыбается саркастически. Не люблю я этого слова, но другое (хорошее) не приходит в голову.

Садимся за деревянный кривой столик, к счастью, не покрытый облупившейся липкой клеенкой. Девушка в белом переднике приносит нам теплую водку и на черством хлебе заветренную полтавскую колбасу.

Шостакович чокается.

— Так вот, Анатолий Борисович, являюсь я сегодня в консерваторию... А перед тем, как



## Х

войти в класс, случайно останавливаюсь перед «доской объявлений» и читаю...

Он делает паузу и с той же улыбкой потирает руки.

— Читаю, что меня выгнали из профессор.

— Прелестно!

— Узнаю, значит, об этом из приказа, наклеенного на доску.

— Прелестно!

— Ну, выпьем, Анатолий Борисович.

— Есть за что! — говорю я.

И мы сдвигаем зеленоватые стаканы.

# XI

ГАЛИНА:

Я шепотом произношу названия букв:

– Ша... Бэ... Эм... Эн... Ка...

Отец прижимает палец к губам и тихо говорит мне:

– Молчи!

Мы – в полутьме медицинского кабинета. Отцу проверяют зрение с помощью специальных таблиц, а я по школьной привычке выручаю его – подсказываю буквы.

Эта забавная сценка происходила в начале 1949 года в так называемой «кремлевке» – правительственной поликлинике. Нашему появлению там предшествовала целая история.

В марте того года большая группа деятелей советской науки и искусства должна была ехать в США, приняли решение включить в

эту делегацию Шостаковича. Он вообще не любил такие поездки, от этой же хотел уклониться еще и по той причине, что был в очередной раз ошельмован: в течение целого года его ругательски ругали в прессе и на всех официальных собраниях (в феврале 1948-го вышло постановление ЦК, где осуждались «формалисты», к которым был причислен и Шостакович).

И тогда случилась вещь беспрецедентная. 16 марта отцу позвонил по телефону сам Сталин. Шостакович стал отказываться от поездки: дескать, ехать ему неудобно, так как существует запрет на исполнение его музыки. И Сталин тут же запрет отменил. Но разговор на этом не кончился. Все еще пытаюсь уклониться от путешествия в Америку, отец сказал:

— Я плохо себя чувствую... Я болен...

Тогда Сталин спросил:

— Где вы лечитесь?

Ответ был такой:

— В районной поликлинике...

Разговор продолжался, но эти три реплики не остались без последствий. Я уже упоминала, одним из результатов постановления ЦК 48-го года было то, что нашу семью лишили права пользования «кремлевкой» — поликлиникой для правительства. Так вот, в тот же день, когда Шостакович разговаривал со Сталиным, начались оттуда звонки: требовали за-

## Х I

полнить анкеты, предоставить наши фотографии и, главное, немедленно явиться к ним всей семьей, дабы пройти полное обследование. И посещение окулиста, во время которого я пыталась помочь отцу подсказками, состоялось по случаю нашего возвращения в число пациентов «кремлевки».

Как я теперь понимаю, наше изгнание из правительственной поликлиники произошло по инициативе не в меру ретивых мелких чиновников, а поспешное восстановление — по прямому указанию «великого вождя».

### МАКСИМ:

Когда отцу позвонил Сталин, дома были папа, мама и я. Отец говорил из своего кабинета, а мама слушала этот разговор по другому аппарату, который стоял в прихожей. И я умолял ее, чтобы она дала мне трубку, ужасно хотелось услышать голос «живого Сталина». И я ее упросил, мне довелось услышать несколько фраз из их с отцом разговора.

### Соломон ВОЛКОВ:

16 марта Шостаковичу позвонили и предупредили: не отходить от телефона, с ним будет разговаривать товарищ Сталин. Поначалу композитор подумал, что его разыгрывают. Но потом решил, что вряд ли кто-нибудь осмелится столь опасно шутить. И действительно,

услышал в телефонной трубке памятный ему по личной встрече (1943 год, Большой театр, обсуждение нового Государственного гимна) голос Сталина, поинтересовавшегося, почему Шостакович отказывается от столь ответственного поручения.

Шостакович обладал быстрым умом и уже доказал однажды, что в диалоге с вождем не тушется. Не растерялся он и на сей раз (видимо внутренне подготовился заранее) и ответил, что в Америку не поедет потому, что уже больше года музыку его и его коллег не играют, она в Советском Союзе запрещена.

И тут произошло неслыханное: желавший загнать композитора в угол Сталин растерялся сам. Контролировавший до мелочей проведение своих идеологических указаний в жизнь, гордившийся своим всезнанием и никогда не упускавший возможности это всезнание продемонстрировать и подчеркнуть, вождь на сей раз изобразил неведение и крайнее удивление: «Как это не играют? Почему не играют? По какой такой причине не играют?»

Шостакович объяснил, что есть соответствующий приказ Главреперткома (т.е. цензуры). И тут Сталин пошел на уступку первым: «Нет, мы такого распоряжения не давали. Придется товарищей из Главреперткома поправить.» И сменил тему разговора: «А что у вас там со здоровьем?»

В ответ Шостакович сказал чистую правду:

«Меня тошнит». Это была вторая неожиданность для Сталина. Надо полагать, что он немного опешил, но виду, как человек опытный и подчеркнуто спокойный, не подал, предпочитая истолковать слова Шостаковича в их прямом, а не метафорическом смысле: «Почему тошнит? Отчего тошнит? Вам устроят обследование.»

Этим тщательным обследованием занялась целая медицинская бригада из так называемой «кремлевки» — специальной поликлиники для правительства и советской элиты. Вывод кремлевских врачей был: Шостакович действительно болен. Шостакович дозвонился до уже знакомого ему личного секретаря Сталина Поскребышева, чтобы сообщить о диагнозе. Но у того, видимо, были свои инструкции от Хозяина: Поскребышев ответил, что ничего передавать Сталину не будет. Надо ехать в Америку, а вождю следует написать соответствующее благодарственное письмо — нечего с Хозяином препираться.

Сталину, конечно, о врачебном заключении было доложено своим чередом, но он его решил проигнорировать. Диктатор, надо полагать, рассудил, что он уже и так с избытком продемонстрировал свою благожелательность и терпимость: приказ Главреперткома о запрещении исполнения целого ряда произве-

дений «композиторов-формалистов» — Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна, Шебалина, Мясковского и других — был отменен.

История эта, впервые преданная гласности Шостаковичем в его мемуарах, получила подтверждение в опубликованных ныне документах. Причем документы эти свидетельствуют, что реакция Сталина была прямо-таки молниеносной. Сразу после разговора Сталина с Шостаковичем, буквально в тот же день, на письменный стол вождя легла затребованная им справка от заместителя председателя Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР. В этой справке перепуганный чиновник, абсолютно не понимая, в какую сторону вдруг подул ветер, докладывал точный список запрещенных опусов Шостаковича, на всякий случай угодливо сообщая, что «его лучшие произведения: Фортепианный квинтет, 1-я, 5-я, 7-я симфонии, музыка к кинофильмам и песни исполняются в концертах».

Напрасный труд! Стрелочник всегда должен быть наказан. И уже на другой (!) день незадачливые бюрократы были прихлопнуты следующим распоряжением Совета Министров СССР: «Москва, Кремль. 1. Признать незаконным приказ № 17 Главреперткома Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР от 14 февраля 1948 г. о запрещении исполнения и снятии с репертуара

ряда произведений советских композиторов и отменить его. 2. Объявить выговор Главреперткому за издание незаконного приказа.» И подпись: «Председатель Совета Министров Союза ССР И.Сталин.»

**Михаил АРДОВ:**

В приведенной выше цитате упоминается встреча, которая была у Шостаковича со Сталиным в 1943 году, когда в Большом театре происходило обсуждение нового Государственного гимна. Я не могу отказать себе в удовольствии продолжить цитирование.

**Соломон ВОЛКОВ:**

После одного из прослушиваний с авансценны объявили: «Шостаковича и Хачатуряна просят в ложу!» Обоих быстро провели, в сопровождении охраны, в ложу Сталина, где композиторов уже ожидали.

В примыкавшей к ложе небольшой красной гостиной (артисты называли ее «предбанником») стоял вождь, поодаль — другие члены Политбюро: Молотов, Ворошилов, Микоян, Хрущев — человек десять-пятнадцать. Шостакович, знавший их всех по портретам и обладавший феноменальной памятью, вежливо поприветствовал каждого по имени-отчеству: «Здравствуйте, Иосиф Виссарионович! Здравствуйте, Вячеслав Михай-



лович! Здравствуйте, Климент Ефремович! Здравствуйте, Анастас Иванович! Здравствуйте, Никита Сергеевич!» Это понравилось Сталину. «Мы робких не любим, но мы и нахалов не любим», — говаривал он.

Теперь они с любопытством рассматривали друг друга: невысокий, широкоплечий, с лицом, изрытым следами оспы, разглаживающий свои знаменитые, уже посеребренные проседью усы вождь — и самый знаменитый «серьезный» композитор его страны, в очках, с вечным юношеским хохолком на голове и обманчивым видом первого ученика, нервно готовящегося оттарабанить выученный урок. На Сталине был новенький маршальский мундир светло-защитного цвета с широкими красными лампасами. В руке он держал свою неизменную трубку.

Обращаясь к Шостаковичу, Сталин сказал: «Ваша музыка очень хороша, но что поделать, песня Александрова более подходит для гимна по своему торжественному звучанию.» Затем он повернулся к своим соратникам: «Я полагаю, что следует принять музыку Александрова, а Шостаковича...» (Тут вождь сделал паузу; композитор позднее признавался одному своему знакомому, что уже был готов услышать — «а Шостаковича вывести во двор и расстрелять».) Но вождь закончил иначе: «А Шостаковича — поблагодарить.»

## ХІ

Затем Сталин обратился к присутствующему тут же Александрову: «Вот только у вас, профессор, что-то с инструментовкой неладно.» Александров начал оправдываться: дескать, из-за отсутствия времени он поручил выполнить оркестровку своему заместителю Виктору Кнушевицкому, а тот, видно, схалтурил. Внезапно Шостакович взорвался и прервал Александрова: «Как вам не стыдно, Александр Васильевич! Вы же отлично знаете, что Кнушевицкий — мастер своего дела, инструментует замечательно. Вы несправедливо обвиняете своего подчиненного, да еще за глаза, когда он не может вам ответить. Постыдитесь!»

Воцарилось молчание. Все замерли, ожидая реакции Сталина на столь необычную вспышку. Сталин, попыхивая трубочкой, с интересом поглядывал то на Шостаковича, то на смутившегося Александрова. И наконец, заметил: «А что, профессор, нехорошо получилось...»

Цель Шостаковича была достигнута: Кнушевицкий был спасен от разжалования и, возможно, даже от ареста. Молотов спросил Шостаковича: «А ваш гимн тоже инструментовал Кнушевицкий?» И получил убежденный ответ, что композитор должен оркестровать свои сочинения сам. Когда музыканты покинули комнату, Сталин, обращаясь к Молотову заметил: «А этот Шостакович, кажется, приличный человек...»

**МАКСИМ:**

Как известно, поездка Шостаковича в Америку в 1949 году состоялась. Официально он был членом советской делегации, которая прибыла на Всеамериканский конгресс деятелей науки и культуры в защиту мира. Кроме нашего отца, в Соединенные Штаты прибыли писатели, кинорежиссеры, ученые. По причине своей застенчивости и скромности Шостакович никогда не говорил о некоторых подробностях своего путешествия за океан. Но писатель Александр Александрович Фадеев, который был в составе той делегации, в свое время рассказывал друзьям о том, как в Америке принимали знаменитого композитора.

Начать с того, что на аэродроме в Нью-Йорке Шостаковича приветствовали несколько тысяч музыкантов. Саму группу тех деятелей, что приехали из Советского Союза, в прессе именовали так: «Дмитрий Шостакович и сопровождающие его лица». Американцам довольно трудно произносить нашу фамилию, и они ее переделали на свой лад, отца именовали сокращенно — «Шости».

Время от времени ему кричали: «Шости, прыгай, как Касьянкина!» Незадолго до того, как наш отец приехал в Штаты, там разразился скандал. Русская учительница по фамилии Касьянкина, которая работала в

школе при советском представительстве, попросила политического убежища. Дипломаты попытались ей воспрепятствовать, они заперли эту женщину в одной из комнат посольства. Но Касьянкина сумела открыть окно и выпрыгнуть на улицу, где ее ожидала толпа американцев.

Увы, Шостакович не мог даже и помыслить о том, чтобы последовать примеру Касьянкиной. Он вполне отдавал себе отчет, какая судьба ждала бы нас — его жену и детей — да и всю прочую многочисленную нашу родню, останься он на Западе. Этот шаг довелось совершить мне в 1981 году. Но мои обстоятельства были иными — у моей первой жены была другая семья, и со мною был мой тогда еще единственный сын. Да и по части кровожадности брежневский режим был несравним со сталинским.

Впрочем, и не обо мне тут речь...

А еще Фадеев рассказывал одному из своих приятелей о таком эпизоде. Шостакович зашел в какую-то нью-йоркскую аптеку, чтобы купить аспирин. Он пробыл в магазинчике никак не более десяти минут, но, выходя на улицу, увидел такую картину: один из продавцов выставлял на витрине рекламный щит с надписью: «У нас покупает Шостакович».

## ХІ

Михаил АРДОВ:

На дворе март 1982 года. В то утро я вошел в двухэтажное каменное здание, в котором располагался военкомат. Было это в городе Данилове, под Ярославлем. Меня только что перевели из тамошней церкви на другой приход, и я должен был сняться с военного учета.

Я нашел нужную мне комнату, это был кабинет майора по фамилии, как сейчас помню, Гук. Но хозяина на месте не оказалось, и тогда я стал ходить по коридору и разглядывать так называемую «наглядную агитацию». Один из стендов был посвящен расцвету советской культуры и искусства. И там на самом видном месте была фотография дирижера, во фраке и с поднятой вверх палочкой.

Пока я разглядывал этот снимок, в коридоре послышались шаги — ко мне приближался тот самый офицер, что был мне нужен.

— Товарищ майор, — обратился я к нему, — разрешите дать вам один совет.

— Да, пожалуйста.

Гук был нетипичным офицером, вежливым и обходительным.

— Вы видите этого дирижера на фотографии?

— Да, — отвечал он.

— Так вот, здесь изображен мой старый друг Максим Шостакович. Он теперь уже не с нами, он попросил политического убежища

## ХІ

в Америке. Я не думаю, что кто-нибудь, кроме меня, узнает его на этом снимке. Но если так вдруг случится, у вас могут быть неприятности...

— Я все понял, — отозвался майор.

И через десять минут мы с ним расстались добрыми друзьями.

**МАКСИМ:**

И еще об окулистах. Это семейное предание. До войны отец поехал с концертами в Турцию и там заказал себе очки. Через два дня пришел, заплатил деньги. Мастер ему говорит: «Я вам такие замечательные очки сделал!» — «Спасибо». Тот опять: «Смотрите, какие очки! Вот я их швыряю, они не разобьются!» Он ударил окуляры об пол, и они остались целыми. Отец говорит: «Спасибо, но они мне не для этого нужны». Но мастер очки не отдает и снова заявляет: «Я сейчас их еще раз брошу, и опять с ними ничего не будет!» Еще удар — и вновь очки не разбились. «И в третий раз я их ударю!» — вскричал мастер, и уж тут стекла разлетелись вдребезги.

## XII

ГАЛИНА:

Я помню, как у нас на даче в Комарове гостил Митя Соллертинский. Он был постарше нас с Максимом, учился на одни пятерки, и наши родители ставили Митю нам в пример. Его покойный отец, известнейший профессор-музыковед, был самым близким другом нашего отца. Шостакович весьма болезненно воспринял безвременную смерть И.И. Соллертинского.

ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ (*письмо И.Д. Гликману, 13 февраля 1944 года*):

«Иван Иванович скончался 11 февраля 1944 года. Мы с тобой его больше никогда не увидим. Нет слов, чтобы выразить все горе, которое терзает все мое существо. Пусть послужит увековечением его памяти наша любовь к нему и

вера в его гениальный талант и феноменальную любовь к искусству, которому он отдал свою прекрасную жизнь, — к музыке. Нету больше Ивана Ивановича. Это очень трудно пережить...»

**МАКСИМ:**

Я почему-то не помню, как Митя гостил у нас в Комарове. Но я дружу с ним очень много лет, он долгое время был директором Большого зала Ленинградской филармонии. А способности он, конечно же, унаследовал от Ивана Ивановича. Наш отец рассказывал о своем друге вещи невероятные. Соллертинский, например, читал не как все люди — по строчкам, а, глядя в книгу, воспринимал целиком всю страницу. И память у него была феноменальная, он знал не только свой предмет — музыку, но и литературу, философию, всеобщую историю.

**Дмитрий ШОСТАКОВИЧ:**

Большое число ленинградских студентов пришло сдавать экзамены по марксизму-ленинизму, чтобы, сдавши таковой, получить право стать аспирантами. В число ожидающих вызова в экзаменационную комиссию был и Соллертинский.

Я сильно волновался перед экзаменом. Экзаменовали по алфавиту. Через некоторое время в комиссию был вызван Соллер-



тинский. И очень скоро он вышел оттуда. Я набрался смелости и спросил его: «Скажите, пожалуйста, очень трудный был экзамен?» Он ответил: «Нет, совсем не трудный». — «А что у вас спрашивали?» — «Вопросы были самые простые: зарождение материализма в Древней Греции; поэзия Софокла как выразитель материалистических тенденций; английские философы XVII столетия и еще что-то...»

Нужно ли говорить, что своим отчетом об экзамене Иван Иванович нагнал на меня немало страху...

#### МАКСИМ:

В качестве анекдота отец вспоминал такую историю. Соллертинскому довелось выступать перед аудиторией каких-то «краснофлотцев». Один из этих морячков задал ему вопрос:

— Правда ли, что жена Пушкина жила с Николаем Вторым?

Иван Иванович ответил на поставленный вопрос с исчерпывающей точностью:

— Даже если предположить, что Наталия Николаевна Гончарова (в первом замужестве Пушкина) до конца своих дней сохранила женскую привлекательность, а будущий Император, Наследник Цесаревич Николай Александрович чрезвычайно рано развился, этого не могло быть, поскольку Наталия Николаевна скончалась в 1863 году, а Николай II родился в 1868-м.

## ХІІ

ГАЛИНА:

Мы с Максимом мчимся на велосипедах по комаровским дорожкам, заглядываем за все заборы и громко кричим:

— Том! Томка! Томка!..

Пропал, сбежал наш любимый пес. Это и раньше бывало и всегда доставляло нам массу волнений. Чаще всего мы находили своего беглеца близ какой-нибудь дачи. Например, у знаменитой артистки Екатерины Павловны Корчагиной-Александровской, у нее была собака по имени Кара. Очевидно, старая актриса не раз наблюдала за тем, как мы с Максимом водворяем на место своего пса, и она сделала вывод, что в нашей семье собак любят. Иначе невозможно объяснить дальнейшие события.

В 1951 году Корчагина-Александровская скончалась. И тут выяснилось, что имуществом своим она распорядилась так: дачу в Комарове завещала Театральному обществу, антикварную лампу — своей старой подруге, а собаку — Шостаковичу.

Отец отнесся к этому философски и даже стоически.

Я помню, он произнес:

— Хорошо еще, что это собака, а не осел или крокодил...

Так Кара попала в нашу семью. Летом она жила на даче в Комарове, а зимою в квартире

## ХІІ

родителей мамы — Василия Васильевича и Софьи Михайловны Варзар.

Отец хорошо относился к собакам, но у него были претензии к ним по части гигиены. Он морщился, когда видел, что пес с грязными лапами залезает на кровать. Максим и я постоянно слышали окрик:

— Перестань цацкаться с собакой! Пойди вымой руки!

И еще псы своим лаем мешали ему сочинять музыку. А потому он больше любил котов, которые тише, чем собаки, да и более опрятны.

**МАКСИМ:**

Я помню, в Жуковке у нас некоторое время жила кавказская овчарка, которая стала бросаться на людей. Как только это у нее проявилось, отец сейчас же пристроил ее в какую-то военную часть. Объяснял он это так:

— И среди собак бывают негодяи. Наш пес загрыз котенка. И хоть бы голоден был — нет, просто из озорства. Я его выслал в 24 часа.

**ГАЛИНА:**

Вспоминаю случай в той же Жуковке. Кто-то подбросил маленького котенка, который у нас прижился. Отцу он понравился и даже был допущен в его кабинет. Там стоял стол с выдвигаемыми ящиками, и вот котик од-

## XII

нажды залез в один из них и заснул, а тут ящик задвинули. Немного погодя котенок проснулся и стал орать. Мы это услышали и принялись искать, откуда доносится мяуканье. В конце концов бедолагу нашли и выпустили наружу...

Ну и чтобы закончить кошачью тему, еще такой рассказ. Приятель отца режиссер Фридрих Эрмлер построил в Комарове новую дачу и пригласил Шостаковича с семейством полюбоваться на нее. Хозяин водил нас по всему дому: здесь будет камин, здесь — то, здесь — се. Потом было угощение, хороший обед. А тогда в моду стали входить сиамские коты, и Эрмлер как раз такого себе раздобыл, очевидно, купил за большие деньги. В нашей семье ничего о таких котах еще не знали. И вот, когда мы уходили, на прощание отец сказал гостеприимному хозяину:

— Все у тебя очень хорошо. Только вот коты мог бы завести себе получше...

И еще вот какая история.

В то лето мы, как обычно, жили в Комарове. Как-то утром отец отправился на колодец за водою, и на него неожиданно напал разъяренный петух. Отец выронил ведро и ретировался.

Этому драматическому эпизоду предшествовало вот что. За год до того нам с Максимом подарили двух крошечных цыплят. Мы посе-

лили их на веранде и кормили кусочками колбасы и сыра. Эту парочку полюбил даже наш пес Томка, он позволял им клевать из своей миски. К концу лета цыплята подросли и превратились в петушка и курочку. А когда мы уезжали в Москву, то пристроили их кому-то из соседей.

За зиму курица куда-то пропала, а петух, вскормленный колбасой, вырос, возмужал и стал страшно агрессивным. Когда же мы приехали в Комарово, его опять нам отдали, тут-то и произошло нападение на отца. Он отделался легким испугом, а злобная птица поплатилась жизнью — ее обезглавили и съели.

В те времена каждое утро в Комарове начиналось с того, что отец шел к колодцу с небольшим ведерком. Он жил на втором этаже, и возле его комнаты был такой закуточек с ручкомойником — вещь для него абсолютно необходимая. И воду туда отец доставлял самостоятельно.

### МАКСИМ:

Петух был обречен, поскольку еще до того, как напасть на отца, он бросился на местного почтальона, а это грозило серьезными неприятностями. Пока цыплята были маленькие, Томка их не трогал. Я помню такую сценку: пес ест из своей миски, а петушок клюет из нее с противоположной стороны, и

## XII

Томка рычит на него: дескать, не забывай, кто тут хозяин.

У отца был приятель, кинорежиссер Леонид Захарович Трауберг, а у того — собака, скочтерьер. И вот как-то Трауберг сообщил, что придет в гости к нам на дачу со своим псом. Отец ему говорит: «Учтите, у нас эрдельтерьер». А Трауберг в ответ: «Ничего страшного, мой себя в обиду не даст!» Закончился визит скандально — Томка загнал этого скочтерьера под дом, там были отверстия в фундаменте. Мы с большим трудом выманили оттуда несчастную, перепуганную собаку.

# XIII

ГАЛИНА:

В нашей квартире раздается звонок. Отец, слегка волнуясь, сам идет открывать дверь. Вежливо поздоровавшись с вошедшим, помогает ему снять пальто, и они оба удаляются в кабинет.

С некоторых пор этот невысокий мрачноватый гость стал появляться у нас регулярно. Происходило это в 1952 году, когда всем советским людям предписывалось усердно изучать только что опубликованные работы Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» и «Экономические проблемы социализма в СССР». Для Шостаковича сделали исключение. Нет, не освободили от унижительной обязанности, но разрешили не посещать общих занятий в Союзе композиторов и прикрепили к нему ин-

### ХІІІ

дивидуального преподавателя — «товарища Трошина», каковой и появлялся у нас дома.

Занятия проходили так: «товарищ Трошин» задавал именованному ученику вопросы по пройденной теме, проверял предъявляемые ему конспекты, а потом давал новое задание.

В этой трагикомической ситуации отца отчасти выручали два его друга — Исаак Давыдович Гликман и Левон Тадевосович Атовмьян: именно они конспектировали указанные сочинения Сталина. Бессмысленность этого дела и некую, я бы сказала, ритуальность усугубляло то обстоятельство, что преподаватель притворялся, будто не замечает разницу почерков Гликмана и Атовмьяна, каковые были отнюдь не похожи на почерк Шостаковича. Между прочим, Гликман гостил в нашем доме, когда «товарищ Трошин» явился к нам в первый раз, и существует описание этого визита.

**Исаак ГЛИКМАН:**

Визитер внимательно оглядел кабинет, похвалил его устройство и затем в мягкой форме, даже с виноватой улыбкой, выразил удивление по поводу того, что не видит на стенах кабинета портрета товарища Сталина. Время было тяжелое. Удивление прозвучало как упрек. Дмитрий Дмитриевич смутился, начал нервно ходить по комнате и выпалил, что он непременно приобретет портрет товари-



### ХІІІ

ща Сталина. Правда, обещание осталось невыполненным, так как вскоре мода на сталинские портреты прошла.

Соломон ВОЛКОВ:

Для марксистско-ленинского просвещения Шостаковича был выделен специальный инструктор, и занятия проходили у композитора на дому, один на один. <...> Своему приятелю Льву Лебединскому он рассказал о разговоре с этим инструктором. Тот как-то стал расспрашивать композитора о звонке к нему Сталина в 1949 году, заметив:

— Ведь подумать только, кто с вами говорил! Хозяин полумира! Конечно, вы — человек знаменитый, но по сравнению-то с ним кто вы?

— Червяк, — ответил Шостакович.

— Вот именно червяк! — подхватил инструктор.

Не будучи музыкантом, он не понял язвительной иронии Шостаковича с его аллюзией к известной сатирической песне Александра Даргомыжского «Червяк» на стихи Беранже и ее гротескному припеву:

*Ведь я червяк в сравненье с ним,  
В сравненье с ним, лицом таким,  
Его сиятельством самим!*

### ХІІІ

Как вспоминал Лебединский, Шостакович рассказывал ему об этом не улыбаясь, словно погруженный в какие-то безрадостные размышления. «О чем вы думаете?» — спросил Лебединский. «О том, что из таких дураков и состоит девяносто процентов населения нашей страны.»

М и х а и л А Р Д О В :

В те времена изучать марксистскую теорию обязывали решительно всех, и музыканты, как видим, не были исключением. Я припоминаю такой рассказ. Известный дирижер Василий Васильевич Небольсин сдает экзамен по этой самой дисциплине. Преподаватель ставит ему вопрос:

— Каковы условия захвата власти пролетариатом? Небольсин смотрит на него и вежливо переспрашивает:

— Пардон, кем?

К тому времени, когда Московскую консерваторию оканчивал Святослав Рихтер, уже было ясно, что это — великий музыкант и что его имя непременно должно украшать так называемую «Золотую доску», где значатся все выдающиеся выпускники. Но тут возникло препятствие: Святослав Теофилович никак не мог усвоить все ту же марксистскую теорию. А человек, не получивший по данному предмету отличную оценку, претендовать на «Золо-

### XIII

тую доску» не мог. Начальство повело переговоры с преподавателем марксизма: ему объяснили, кто такой Рихтер и как важно, чтобы он числился среди лучших выпускников. В результате марксист согласился быть снисходительным и задать Святославу Теофиловичу самый простой вопрос. Во время экзамена преподаватель спросил:

— Кто были Карл Маркс и Фридрих Энгельс?

Рихтер подумал и сказал:

— Первые социалисты-утописты!

Марксист в отчаянии схватился за голову.

(Для тех, кто этой теории не изучал, поясню: «социалистами-утопистами» у них именуются Томас Мор, Томмазо Кампанелла и прочие фантазеры, а Маркс и Энгельс почитаются как отцы-основатели «научного коммунизма»...)

И еще одна новелла на тему «марксизм и музыканты».

Это произошло в училище имени Гнесиных. Шел экзамен по диалектическому материализму. Тут надобно заметить, что почти все преподаватели подобных дисциплин страдали комплексом неполноценности.

Один из мальчиков проявил такое невежество, что экзаменатор спросил его с некоторым вызовом:

### ХІІІ

— Позвольте, сами-то вы кто — материалист или идеалист?

— Я баянист, — смиренно отвечал юный музыкант. — Поставьте мне троечку...

ГАЛИНА:

— Вы мне ответьте на такой вопрос, — говорит наш отец студентке. — Что такое ревизионизм?

Это было в тот день, когда Шостаковичу самому довелось побывать в шкуре преподавателя большевистской идеологии, вернее, помогать экзаменовать студентов, которые сдавали этот предмет. В консерватории существовал порядок: никто не имел права принимать экзамены самостоятельно, к каждому непременно присоединялся коллега, как правило, сотрудник другой кафедры.

Шел экзамен по марксистской философии. Принимал его специалист по данному предмету, а ассистентом был назначен Шостакович. На экзамене он помалкивал и вопросов не задавал. Но вот марксист по какой-то надобности покинул аудиторию, и отец остался в одиночестве. Перед ним тотчас уселась девушка, о степени подготовки которой можно было догадаться с первого взгляда: она страшно волновалась и теребила листки с ответами на вопросы.

— Хорошо, — сказал Шостакович, — оставим ваш билет в стороне...

### ХІІІ

И тут он задал ей свой вопрос о ревизионизме. Барышня чуть задумалась и произнесла:

— Ревизионизм — высшая стадия развития марксизма-ленинизма.

Услышав такой ответ, отец сжалился над студенткой: поставил ей отнюдь не заслуженную пятерку, и она, окрыленная своим неожиданным успехом, удалилась.

В аудиторию вернулся главный экзаменатор, и Шостакович ему сообщил:

— У меня тут отвечала Иванова, я ей поставил «отлично».

— Ивановой? — переспросил марксист. — Она вам ответила на «отлично»?

— Да, — говорит отец, — она все ответила.

— Странно, — сказал марксист. — Иванова у меня весь год занималась безобразно...

Михаил АРДОВ:

Шостакович, слава Богу, не посвятил профессионального марксиста в подробности принятого экзамена. Ответ студентки поверг бы его в шок: «ревизионизм» у марксистов — примерно то же самое, что «ересь» у христиан.

МАКСИМ:

А мне запомнился другой подобный случай. На таком же экзамене, тоже по марксизму, главный преподаватель сказал Шостаковичу:

### ХІІІ

«Почему вы все время молчите? Задавайте студентам какие-нибудь вопросы». В аудитории, где происходил экзамен, на стене висел плакат, на котором были начертаны слова: «Искусство принадлежит народу. В.И. Ленин». И прикреплен был этот плакат прямо над головами сидящих за столом экзаменаторов. Так вот, Шостакович решил нарушить свое молчание и заодно помочь очередному студенту, и задал такой вопрос:

— Кому принадлежит искусство? Какое мнение на сей счет высказывал Ленин?

Студент попался бестолковый и ответить не мог.

Отец пытался его выручить и движением головы указывал на висящий сзади плакат. Но все усилия Шостаковича оказались тщетными — экзаменуемый так и не понял, что это подсказка.

# XIV

ГАЛИНА:

В телефонной трубке взволнованный голос отца:

— Никуда не ходи, сейчас за тобой придет машина.

Это 6 или 7 марта 1953 года. Москва прощается с усопшим «великим вождем». Родители прекрасно понимали, что в такие дни опасно выходить на улицу, но я дома не усидела. Пешком дошла до Красных ворот (вне Садового кольца никакого оцепления не было), зашла к родственникам мамы Варзарам, оттуда позвонила отцу. Он тотчас выслал за мной автомобиль, который благополучно привез меня домой.

В те дни у нас в семье траура не было. Впрочем, и ликования не наблюдалось. Как мы помним, в тот же день, что и всемогущий тиран,

## XIV

скончался Сергей Сергеевич Прокофьев. По этой причине у нас дома не умолкал телефон — отцу звонили коллеги-музыканты.

Кто-то из них сказал:

— Ах, жаль, не успел Сергей Сергеевич узнать, что Сталин умер.

**МАКСИМ:**

Очень хорошо помню тот день. Папа взволнованно ходит по квартире и повторяет:

— Сейчас будет Ходынка, сейчас будет Ходынка... Не дай Бог Галю раздавят... Нельзя было ее отпускать, нельзя было ее отпускать...

**ГАЛИНА:**

Церемония похорон Сталина передавалась по радио. Помню, как из приемника доносились слова, произносимые с сильным грузинским акцентом:

— Кто не слеп, тот видит...

Это была речь Бери. У нас дома был магнитофон, и наша мама все это записала на пленку. К сожалению, лента потом пропала. Но отец иногда, в житейских ситуациях, пародировал голос Бери:

— Кто не слеп, тот видит...

**Михаил АРДОВ:**

Я хорошо помню тот день — 5 марта 1953 года. У нас в школе по существу никаких занятий



## XIV

не было — все рыдали — и учителя, и ученики... Мой младший брат Борис вернулся домой из своей школы, где тоже все плакали. Но войдя в столовую, он вдруг увидел, что наш отец стоит перед зеркалом и, приплясывая, тихонько напевает:

— Наконец-то сдох, наконец-то сдох...

Боря потом говорил нам, что в его душе на какой-то момент пробудились «чувства Павлика Морозова»...

И уже седьмого марта я лез по скользкой, обледеневшей крыше, рискуя сорваться и разбиться об асфальт. Впереди и позади меня еще двадцать таких же безумцев. Теперь — прыжок вниз, в подтаявший сугроб, — и мы почти у цели... Крыша и двор — между Столешниковым и Камергерским переулками.

Все мы, в том числе и я с двумя приятелями, стремимся, минуя бесконечную очередь, попасть в Колонный зал и поглядеть на мертвого Сталина.

Идея пришла в голову мне.

В свои пятнадцать я сумел сообразить, что вполне реально пройти с той стороны, с которой движутся люди, уже побывавшие в Колонном зале. Сказано — сделано. От площади Маяковского до Пушкинской оцепление было неплотным, и мы с приятелями пробрались без особых усилий. От Пушкинской пришлось идти проходными дворами, так добрались до Столешникова.

## XIV

Мы примкнули к очереди почти у самой цели и через двадцать минут оказались там, куда тщето рвались осатаневшие от горя несметные толпы.

В памяти моей осталась только пышная зелень, окружавшая гроб, да звуки траурной музыки.

Люди моего поколения помнят: несколько дней подряд изо всех репродукторов доносилась музыкальная классика — непрерывный концерт виртуозов. Праздник для меломанов!.. Давид Федорович Ойстрах вот что рассказывал одной нашей с ним общей знакомой.

Пока гроб Сталина стоял в Колонном зале, они, лучшие исполнители, играли по очереди.

Там же они могли передохнуть и подкрепиться. За кулисами (как еще назвать соседствующее помещение?) стояли стулья, стол с бутербродами и чаем.

В какой-то момент туда заглянул Хрущев — лицо небритое, усталое, но довольное. Оглядев сидевших там знаменитых музыкантов, он сказал вполголоса:

— Повеселей, ребятки!

И лысая голова исчезла.

И еще о музыкантах.

Кто-то, увидев плачущую Е.Г.Гилельс, принялся ее утешать:

— Ну что вы так убиваетесь... У нас будут еще вожди! Ну, может, не такие, как Сталин...

## XIV

— Да плевать мне на вашего Сталина! — отвечала она. — Я плачу оттого, что Сергей Сергеевич Прокофьев умер...

Композитор Андрей Волконский рассказывал мне, что ему и другим ученикам Сергея Сергеевича, тем, кто занимался его похоронами, досталось много хлопот.

Прокофьев жил на улице Горького, а туда из-за оцепления невозможно было подогнать похоронную машину. Его ученики несколько кварталов несли гроб на плечах, и их горе никак не смешивалось с горем людей, устремившихся к Колонному залу.

**Соломон ВОЛКОВ:**

Шостакович у гроба Прокофьева, выставленного в убогом полуподвале Дома композиторов, был смиренен и почтителен, как никогда. Он поцеловал покойному руку и сказал: «Я горжусь тем, что мне посчастливилось жить и работать рядом с таким великим музыкантом, как Сергей Сергеевич Прокофьев.» Цветов у гроба Прокофьева было мало — они все были затребованы к Колонному залу Дома союзов, где стоял гроб с телом Сталина. Когда 7 марта, в зябкий и мрачный день, похоронная процессия с телом Прокофьева двинулась к кладбищу, среди кучки людей, провожавших гроб композитора, был и Шостакович.

# XV

ГАЛИНА:

Мне вспоминается зимний вечер. Отец сидит у стола и раскладывает пасьянс. А я, как бы ненароком, иду мимо него и начинаю покашливать.

Он смотрит на меня с тревогой и говорит:

— У тебя кашель? Ты простудилась?

— Нет, — говорю я, — пустяки...

У меня и на самом деле никакой простуды нет, но завтра на уроке литературы предстоит писать сочинение, а мне этого очень хочется избежать.

Отец встает из-за стола, прикладывает ладонь к моему лбу и говорит:

— По-моему, у тебя температура. На всякий случай в школу завтра не ходи.

Он всегда очень заботился о нашем здоровье, и мы с Максимом, дело прошлое, этим пользовались.

Или такое воспоминание. Отец празднует день своего рождения. Как всегда, горит множество свечей, за столом нарядные гости. Среди них — наш сосед по дому на Можайском шоссе дипломат Владимир Иванович Базыкин с женой Лидией Александровной, дамой весьма эффектной. Эта пара только что вернулась в Москву из Америки, то есть, по тем временам, как бы с иной планеты. На стене, прямо над мадам Базыкиной, бра с двумя зажженными свечами. Вдруг одна из них потекла, и парафин стал капать на обнаженное плечо нарядной гостьи. Начался переполох, ей оказали помощь, пересадили на безопасное место.

Было это году в пятидесятом, еще мама была жива.

У отца было такое правило: на день своего рождения он непременно зажигал столько свечей, сколько ему исполнялось лет. Эта привычка очень нравилась всем друзьям, поскольку раз и навсегда разрешала проблему подарков. Всем было известно: Шостаковичу нужно дарить подсвечники, с каждым годом их требуется все больше.

Я помню, накануне очередного дня своего рождения отец куда-то ушел, а потом вернулся с огромным свертком, неся его с превеликой осторожностью. Он поставил свою ношу на стол, снял бумагу, и мы увидели огромный

хрустальный шандал, рассчитанный на дюжину свечей. С той поры этот сверкающий светильник стоял в самом центре праздничного стола.

Всякий раз перед приходом гостей отец возился с многочисленными подсвечниками — аккуратно вставлял свечки, обжигал на них фитили, чтобы все было готово и никакой заминки при возжигании не было. И повсюду были разложены коробки со спичками...

И еще одно воспоминание, связанное с приходом гостей.

В нашей квартире на Кутузовском одна из батарей отопления была прикреплена не под окном, а прямо к стене. Когда гости разбредались по квартире, кто-нибудь из пришедших норовил присесть на эту самую батарею. И тут отец начинал нервничать, он говорил какой-нибудь увесистой гостье:

— Очень вас прошу, не садитесь на радиатор. Он может оторваться, и тогда из трубы будет хлестать ржавая горячая вода...

**МАКСИМ:**

Я хочу добавить несколько слов о Лидии Александровне Базыкиной. Она была необычайно хороша собою. Достаточно сказать, что, живя в Америке, она была моделью, ее фотографии печатались в модных журналах. Мало того, она была обладательницей пре-

красного голоса. Ее муж однажды попросил отца послушать, как она поет. Папа послушал и сказал: «У вас прекрасный голос, вам надо учиться!» И она после взятых уроков стала петь в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко...

И еще о подсвечниках.

Два самых роскошных шандала – бронзовых, с хрустальными подвесками – подарил отцу Хачатурян.

ГАЛИНА:

Да, вот еще что – раз уж речь зашла о застольях – отец совершенно не терпел льстивых тостов. Чтобы предотвращать это, едва наполнялись рюмки и бокалы, он тут же сам возглашал:

– Ну, давайте выпьем за мое здоровье!..

Арам ХАЧАТУРЯН:

Трудно хвалить в лицо, например, Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Мне не раз приходилось сидеть с ним за одним столом, особенно в Грузии и Армении, когда пили за его здоровье, поднимали бокалы и начинались знаменитые кавказские тосты. Шостакович в таких случаях торопливо вскакивал, прерывал оратора и говорил: «Ну, давайте выпьем!» – чтобы прервать излишнее славословие и медовые восхваления...



Дом творчества композиторов (Иванов). Годы войны.  
Фото Н. В. Шостакович (из семейного архива)





Иванов. Годы войны





Иванов. Годы войны

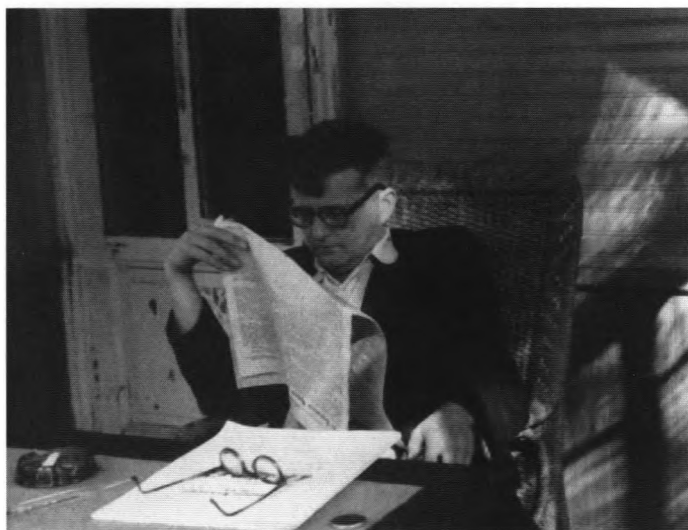
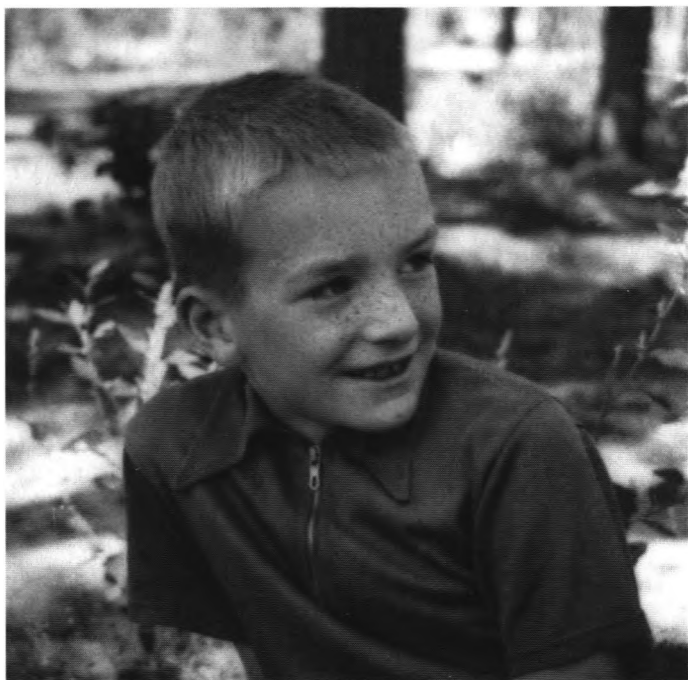


Нина Васильевна Шостакович



На даче в Комарове





На даче в Комарове







Дмитрий Шостакович. 40-е годы



Семья Шостаковичей. 40-е годы



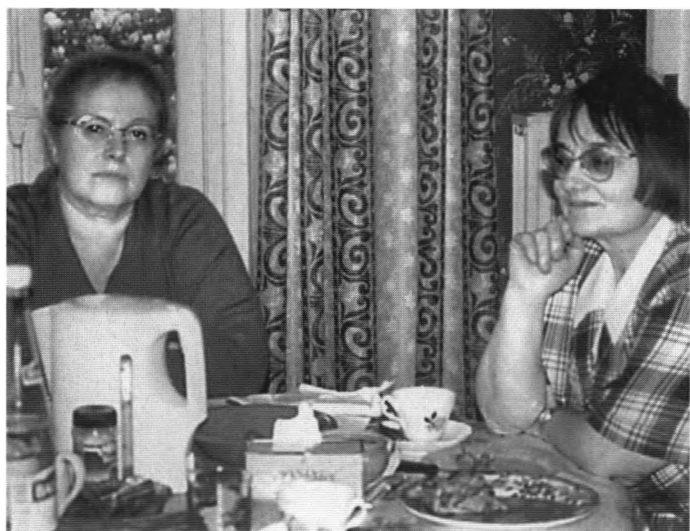
Нина Васильевна и Дмитрий Дмитриевич. Комарово



Нина Васильевна. Конец 40-х годов



С Ириной Антоновной. 1963 год



Ирина Антоновна и Галина Дмитриевна. 90-е годы



Д.Д. и М.Д. Шостаковичи на репетиции. Начало 70-х годов



Протоиерей Михаил Ардов освящает дом Максима Шостаковича в штате Коннектикут. 1995 год

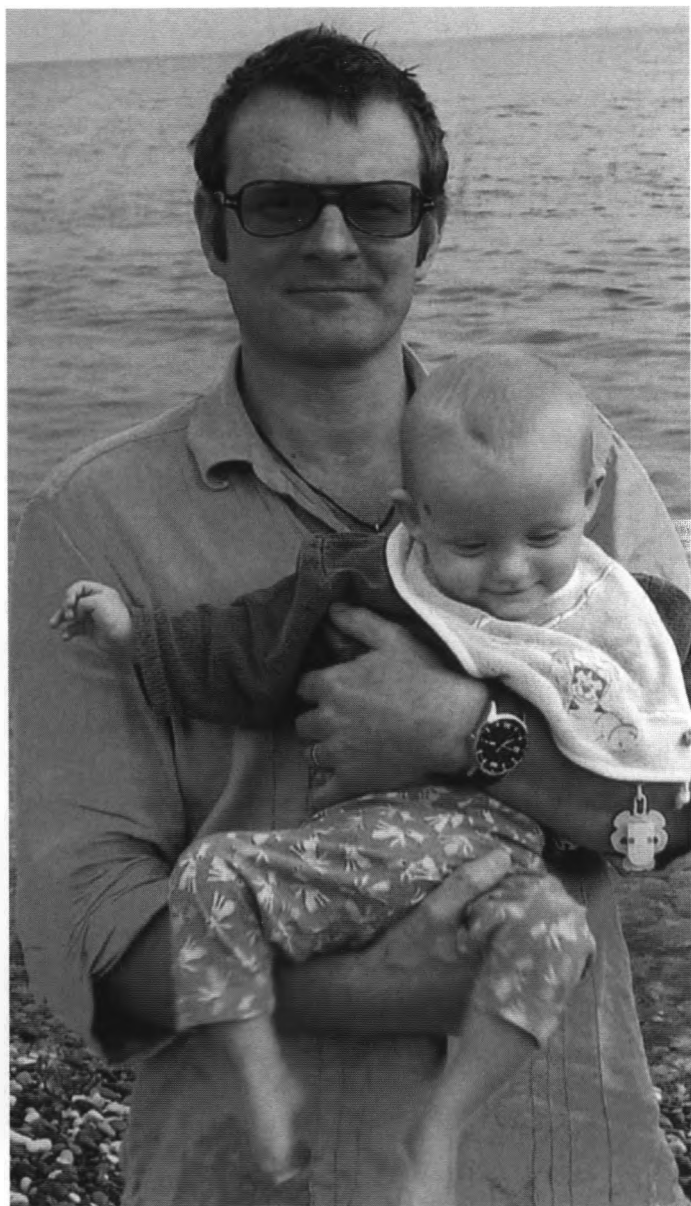


Галина и Максим. 80-е годы



Максим Шостакович за дирижерским пультом.

Конец 90-х годов



Внук композитора Дмитрий Максимович Шостакович  
и правнук Дмитрий Дмитриевич Шостакович. 2005 год

Исаак ГЛИКМАН:

В Москве готовился пятидесятилетний юбилей Шостаковича, к которому он относился с большим раздражением, скукой и тоской. Его заранее пугал поток юбилейных речей, в которых будет много фальши и лицемерия. Те, кто его травил, напялят маски горячих поклонников и будут его лобызать.

Вечер состоялся 24 сентября в переполненном Большом зале Консерватории. Дмитрий Дмитриевич находился на эстраде, окруженный корзинами цветов. Виду него был отнюдь не счастливый. Он делал усилия, чтобы с интересом внимать речам, которые были ему не интересны, не нужны. Каждый из ораторов в конце своей тирады пытался поцеловать его, но я заметил, как он ловко и вроде бы случайно локтем отталкивал от себя тех, кто был ему неприятен и антипатичен. На вечере, разумеется, выступали и любящие, и искренне почитавшие Шостаковича — человека и композитора.

На следующее утро Дмитрий Дмитриевич бросал рассеянный и какой-то отчужденный взгляд на груды сувениров, преподнесенных ему на юбилее.

Подарки эти ему тоже казались неинтересными и ненужными.

За утренним чаем мы условились не говорить о юбилее, хотя ничего худого на нем не произошло.



Виктор ВИНОГРАДОВ:

Юбилейная дата — пятидесятилетие со дня рождения. Шостакович отмечает ее в сугубо личном плане, приглашает наиболее близких и интересных для него знакомых на товарищеское застолье в ресторан «Прага». Получаем такое приглашение и я с моей женой, приходим в обозначенное время и место. Поднимаемся на второй этаж (вход с Арбата). У входа в зал приемов — Шостакович. Он каждого гостя приветствует, пожимает руку. Каждый из нас произносит по его адресу, кто как сможет, короткие поздравительные реплики, располагаемся в зале за одним из трех больших столов.

Гостей собралось около ста человек. Кто они? Состав их самый разнообразный как по профессии, так и по социальному положению — в основном деятели искусств — видные профессора А.В. Гаук, А.В. Свешников, Ю.А. Левитин и другие. Но я не заметил среди них вершителей судеб музыки — руководителей учреждений, представляющих «Олимп». Зато вызвали мое внимание люди с первого взгляда малоприметные. Вот Тамара — рядовой сотрудник книжной библиотеки Союза композиторов, вот рабочий Малого зала консерватории. Он передвигает рояль по сцене в Малом зале, дает «ля» на рояле для готовящихся к выходу и пока находящихся за кулисами артистов (струнников). Одним словом, состав

## XV

гостей был разнохарактерный, если мы учтем, что его формировал Дмитрий Дмитриевич по своему вкусу.

Застолье открыл Шостакович. Он, обратившись ко всем нам, назвал нас близкими ему, дорогими товарищами и гостями. Все мы должны чувствовать себя здесь свободно, без соблюдения каких-либо ритуалов, одним словом, как дома, говорить о чем угодно, общаться непринужденно. «Но, — продолжал он, — только не обо мне. Я буду лишать слова тех, кто прямо или косвенно заведет речь обо мне. Здесь не будет произнесено даже мое имя», — в такой категорической, почти диктаторской форме потребовал он соблюдения своих условий. Надо сказать, что они были выполнены всеми за исключением разве одного Ю.А. Левитина, который остроумно говорил о присутствующем здесь юном Максиме, но занимательно, с юмором всячески обходил фамилию Максима. Встреча прошла весело, непринужденно, царила атмосфера искренности и любви к Шостаковичу.

# XVI

ГАЛИНА:

С экрана льется музыка, и женский голос поет:

*Танцуй танго,  
Мне так легко...*

А мне совсем нелегко, поскольку в полутемном зале рядом со мною сидит отец, лицо которого выражает полнейшее отвращение и к музыке, и к пению, и вообще ко всему, что мы видим на экране.

Происходит это в кинотеатре «Призыв», рядом с нашим домом, на Можайском шоссе. В кино в те годы попасть было нелегко, но тут нас с Максимом выручало то обстоятельство, что отец был депутатом Верховного Совета

РСФСР. При необходимости он печатал на машинке письмо, и администратор продавал нам билеты без очереди.

Однажды я решила повести на сеанс десять девочек из своего класса. Отец по моей просьбе написал письмо в кинотеатр, но тут нам отказали.

Администраторша объявила:

— Товарищ Шостакович, как депутат Верховного Совета, имеет право получить вне общей очереди два билета. Он может прийти на сеанс с женой или кем-нибудь из детей. Пусть он приходит лично и покупает полагающиеся ему билеты.

И вот тогда-то я уговорила отца сходить со мною на «Петера», глупейшую комедию, где в главной роли снималась актриса Франческа Гааль. Там она переодевалась в мужской костюм, кривлялась, пела и плясала.

Отец мужественно досидел до конца фильма, хотя, повторяю, лицо его являло муку.

И когда мы пошли домой, он сказал:

— В кино меня больше, пожалуйста, не води...

**МАКСИМ:**

Я в детстве очень любил ходить в кино. И, дело прошлое, ради этой цели я пускался на подлог. Брал депутатский бланк отца, печатал одним пальцем на его машинке письмо в тот же самый кинотеатр «При-

зыв», а потом имитировал его подпись. Я до сих пор помню текст этих поддельных писем: «Прошу продать один билет на текущий сеанс». Таким образом я несколько раз смотрел «Тарзана».

Михаил АРДОВ:

В те времена я любил кино не меньше Максима. Неподалеку от нашего дома был один из лучших в Москве кинотеатров — «Ударник». Мой отец — писатель Виктор Ардов — был гораздо менее знаменит, нежели композитор Шостакович, но администраторы из «Ударника» его знали и даже любили, поскольку он дарил им свои веселые книжки. А когда я подрос, мой голос сделался довольно похожим на отцовский, и я пользовался этим обстоятельством примерно так, как Максим депутатским бланком своего отца. Я звонил администратору «Ударника» по телефону, называл себя Виктором Ардовым и просил продать своему сыну Михаилу билеты на какой-нибудь популярный фильм...

Но кинематограф начала пятидесятых годов в моей памяти прежде всего связан с прогулками, я ходил на тогдашние фильмы вместо того, чтобы идти в школу. Но вот беда тех лет: в Советском Союзе выпускали не более десяти картин в год, и каждую из этих лент крутили по несколько недель во всех московских

кинотеатрах. Какой-нибудь дурацкий фильм вроде «Кубанских казаков» мне приходилось смотреть раз двадцать.

Чаще всего мы, прогульщики — ученики школы №12, шли все в тот же ближайший кинотеатр «Ударник». Первый сеанс там начинался в девять утра, а занятия наши — в восемь тридцать. Но с некоторых пор мы стали выбирать места подальше от своей школы. Дело в том, что наш директор (по кличке Колес) иногда сам приходил в «Ударник» и вставал возле кассы. И если он видел в очереди какого-нибудь из своих учеников, говорил с некоторой издевкой:

— Шел бы ты лучше в школу.

И пойманный с поличным прогульщик уныло плелся ко второму уроку.

ГАЛИНА:

Шостакович за роялем, играет популярный в свое время фокстрот «Чай вдвоем», а вдоль стен его кабинета стоят унылые мои одноклассницы.

— Ну, давайте, танцуйте, танцуйте! — призывает отец, но девочки стоят как вкопанные.

Я позвала их на день своего рождения.

Сначала было угощение, за столом — родители, брат Максим и мои гости. Но они чувствовали себя напряженно, ни одна из них рта не раскрыла. Эти девочки жили в жутких со-

## XVI

ветских коммуналках, и наша отдельная квартира, где было два рояля и старая удобная мебель, по всей вероятности, казалась им сказочным дворцом.

Когда поднялись из-за стола, отец решил разрядить атмосферу. Он пригласил нас в свой кабинет, уселся за рояль, играл фокстроты и танго, но увлечь моих одноклассниц так и не смог.

Я как сейчас слышу его голос:

— Ну, давайте, давайте, танцуйте! Шерочка с машерочкой...

Две или три нерешительно двинулись, но лед так и не растаял.

А вот воспоминание о давней поездке.

Милиционер останавливает нашу машину.

— Вы в Михайловское? — говорит он. — Дальше проезда нет, вам придется идти пешком.

Отец показывает свою депутатскую книжечку, и наш автомобиль пропускают.

Это происходило в пятьдесят втором году, в начале июня.

Мы должны были переехать из Москвы в Комарово, и отец решил попутно посетить пушкинские места. По мере приближения к заповеднику дорога становилась все оживленнее — грузовики с людьми, легковые машины. И все это двигалось в одном с нами направлении.

## XVI

В Михайловском мы обнаружили море людей.

Отец умилялся:

— Вы посмотрите, как чтут великого поэта! Я и предположить не мог, что у него может быть столько поклонников!

В здании музея нас встретил экскурсовод. Отец представился ему и говорит:

— Как удачно мы приехали! Столько почитателей поэта!

— Да при чем тут поэт?! — экскурсовод руками всплеснул. — Наплевать им на Пушкина! Пьянствовать они сюда приехали! Ведь сегодня — «девятая пятница», раньше это был престольный праздник в Святогорском монастыре. В этот день тут спокон веку была гульба. А для музея просто беда: они тут перепьются, весь парк заблюют, мусором закидают, стекла побьют. Недели три придется приводить усадьбу в порядок. И вот так каждое лето...

*Из дневника опочецкого мещанина*

И. И. ЛАПИНА:

«1825 год. 29 мая в Св. Горах был о девятой пятницы... и здесь имел щастие видеть Александра Сергеевича г-на Пушкина, который некоторым образом удивил странною своею одеждою. У него была надета на голове соломенная шляпа, в ситцевой красной рубашке,



## XVI

опоясавши голубою ленточкою, с железною в руке тростию, с предлинными чор. бакенбардами, которые более походят на бороду, так же с предлинными ногтями, с которыми он очищал шкорлупу в апельсинах и ел их с большим аппетитом, я думаю около  $1/2$  дюжины...»

# XVII

ГАЛИНА:

Я гляжу в иллюминатор и вижу нескончаемую белую равнину. Это облака, над которыми летит наш самолет. И я думаю о том, что он движется очень медленно. Хочется, чтобы он мчался как можно быстрее. Рядом со мною сидит отец, мы летим в Ереван — там попала в больницу мама.

Она была физиком, занималась космическим излучением. В Армении была высокогорная станция Арагац, мама периодически туда уезжала для работы. Так было и осенью пятидесят четвертого года, в декабре мы ждали ее возвращения. Вдруг позвонили из Еревана. Отец был на концерте, просто как слушатель. Его отыскали среди публики и сообщили, что мама попала в больницу, что у нее была сложная операция.

## XVII

И вот мы летим в Ереван. С аэродрома примчались в больницу. Стали разговаривать с врачами. Нам сказали, что мама без сознания.

Мы стали решать бытовые вопросы: как организовать круглосуточное дежурство, кто будет с нею в эту первую ночь.

И тут вошел какой-то человек в белом халате и объявил, что она скончалась.

Дальше все, как во сне... Хлопоты в Ереване... Едем в Москву на поезде... Гроб в нашей квартире... Родственники, друзья, соседи — все пришли попрощаться... Новодевичье кладбище... Вернулись домой — поминки... В те дни я впервые увидела отца плачущим.

### МАКСИМ:

Когда они улетали в Ереван, у отца было какое-то предчувствие. Меня он туда брать не хотел. И я помню, как сидел и ждал телефонного звонка. У меня были тапочки, которые порвались, и я пытался самостоятельно их зашить. И в этот самый момент раздался звонок из Еревана. Папа сказал: «Мама умерла». И тут я понял, что мне его надо как-то поддержать. И я что-то такое ему стал говорить, пытался успокоить...

Они с Галей приехали на поезде, а цинковый гроб прилетел на самолете. Его сопровождал армянский композитор Худоян.

На кладбище указали, где будет мамина могила, отец говорил:

## XVII

— Вот и мне здесь есть местечко, и мне есть местечко...

Декабрь был очень холодный, а у меня тогда не было теплой одежды. И накануне похорон папа попросил мамину подругу Анну Семеновну Вильямс пойти со мною в магазин и купить мне пальто.

На кладбище папа не позволил произносить речей.

Молчание было прервано его словами:

— Холодно очень. Очень холодно. Давайте разойдемся...

Исаак ГЛИКМАН:

В мучительные часы, предшествующие похоронам, Дмитрий Дмитриевич несколько раз принимался рассказывать мне о последних минутах Нины Васильевны, и каждый раз его исхудавшее лицо начинало судорожно дергаться и из глаз струились слезы, но он большим усилием воли брал себя в руки, и мы обрывистыми фразами переходили на другие, ничего не значащие темы.

Через кабинет проходила длинная вереница людей, пожелавших проститься с покойной. Звучала музыка квартетов и Восьмой симфонии. Л.Т. Атовмьян для этой цели приладил магнитофон. Я сидел на диване с Дмитрием Дмитриевичем, который временами беззвучно плакал.

## XVII

После похорон, состоявшихся во второй половине дня на заснеженном Новодевичьем кладбище, домработница Феня устроила поминки, на которых, кроме родных, присутствовали Л.Т. Атовмьян, Ю.В. Свиридов и я.

Мое расставание с Дмитрием Дмитриевичем было исполнено печали и скорби.

Ночью 10 декабря я вместе со Свиридовым уехал в Ленинград.

Почти до самого утра мы с горячей любовью говорили о Шостаковиче, о его гениальном даровании, о его феноменальной творческой воле, которую ничто не способно сломить. Злые силы ее могут согнуть, но она снова выпрямится, подобно стальной пружине.

### МАКСИМ:

Со смертью мамы наш отец потерял не только подругу, мать своих детей. Она была его ангелом-хранителем, избавляла от бытовых хлопот и неудобств, как могла, ограждала от хамства партийных чиновников, от унижений подневольной советской жизни.

### ГАЛИНА:

Я говорю по телефону с молодым человеком. Разговор длится долго, мы назначаем свидание под каким-то фонарем с часами. Во все время этой беседы я вижу, как отец нервно

## XVII

расхаживает по квартире — мой разговор ему явно не душе.

Я вешаю трубку, и он говорит мне:

— Что это за манера — назначать свидания в какой-то подворотне? Воспитанные люди так не делают. Твой кавалер должен прийти к нам домой, познакомиться с твоим отцом. Надо угостить его чаем...

Наша мать умерла, когда мне было восемнадцать лет, а Максиму шестнадцать. И перед отцом встала проблема нашего воспитания. Я до сих пор помню, как он учил меня правилам поведения, объяснял, например, что вниз по лестнице женщина должна идти впереди мужчины, а наверх — позади...

Отец всегда очень волновался, если меня или Максима вечером не было дома. Мы были обязаны звонить домой, сообщать ему, где именно мы находимся и когда вернемся.

В целях воспитательных иногда вспоминалась такая история. Еще до войны родители пошли в гости к поэту Иосифу Уткину. Было обильное угощение, которое приготовила и подавала мать поэта. В какой-то момент она вышла из комнаты, и тут моя мама — Нина Васильевна — опрокинула бокал с красным вином.

Когда хозяйка вернулась, Уткин решил взять вину на себя, дескать, именно он допустил такую оплошность.

## XVII

И тут мамаша на него набросилась:

— Будь ты неладен! Что ж ты натворил?! Это же моя лучшая скатерть! Я же ее теперь не отстираю! Что у тебя за руки?! Почему из них всегда все валится?!

Пересказывая этот эпизод, отец говорил мне и брату:

— Хорошее воспитание состоит не в том, чтобы не опрокинуть бокал вина на скатерть, а в том, чтобы, если такое случилось, сделать вид, будто ничего не произошло.

# XVIII

**МАКСИМ:**

Я по сию пору явственно слышу фарисейский голос композитора Дмитрия Кабалевского. Он обращается к моему отцу и, имитируя доброжелательность, говорит:

— Митя, ну что ты торопишься? Не наступило еще время для твоей оперы...

А Шостакович сидит на диване, в трясущейся руке — папироса, он будто и не слышит Кабалевского.

Это происходило в марте 1956 года. К нам домой явилась комиссия Министерства культуры, она должна была решить дальнейшую судьбу оперы «Леди Макбет Мценского уезда», которая была запрещена к постановке в течение двадцати лет — с 1936 года. Именно тогда на один из спектаклей пришел сам Сталин, и



## XVIII

опера вызвала его гнев. В «Правде» была напечатана разгромная статья под названием «Сумбур вместо музыки», а затем последовали «оргвыводы» — собрания творческой интеллигенции, где единогласно принимались резолюции, гневно осуждающие Шостаковича и его опус.

В 1953 году Сталин умер, в стране началась хрущевская «оттепель», и у нашего отца появилась надежда, что «Леди Макбет» — одно из самых его любимых творений — может быть реабилитирована. Это казалось вполне достижимым, к тому же Шостакович внес в оперу исправления. Она получила новое название — «Катерина Измайлова». Снятия запрета добивался не только наш отец, но и руководство Малого оперного театра в Ленинграде: им очень хотелось включить этот спектакль в свой репертуар.

В начале 1956 года в Министерстве культуры была сформирована комиссия, дабы решить дальнейшую судьбу многострадальной оперы. Председателем комиссии был Кабалевский, кроме него, в комиссию вошли, я помню, композитор Михаил Чулаки и музыковед по фамилии Хубов. А еще там присутствовал Исаак Давыдович Гликман, он помогал отцу делать новую редакцию либретто. То обстоятельство, что прослушивание оперы и заседание комиссии происходило у нас дома, на

## XVIII

Можайском шоссе, может восприниматься двойко. С одной стороны — как дань уважения Шостаковичу, с другой — как утонченное издевательство.

Члены комиссии и приглашенные ими лица расположились в кабинете отца. Он сел у рояля и пропел всю оперу под собственный аккомпанемент. В это время я был рядом с ним: он попросил меня переворачивать нотные страницы.

Потом началось обсуждение.

Кабалевский, Хубов и Чулаки буквально набросились на Шостаковича. Им пытался возражать Гликман, но его не желали слушать.

Я смотрел на этих отвратительных людей и жалел, что у меня нет рогатки, из которой я когда-то в Комарове стрелял в обидчиков моего отца...

Исаак ГЛИКМАН:

Комиссия появилась в кабинете Дмитрия Дмитриевича после полудня, в назначенный час. Все радостно приветствовали хозяина дома. Мне показалось, что ничто не предвещало провала всей затеи.

Шостакович, изрядно нервничая, раздал загодя перепечатанные на пишущей машинке экземпляры текста либретто в новой редакции. Затем он сел к роялю и прекрасно исполнил оперу. После недолгого перерыва, во

## XVIII

время которого члены комиссии сделались недоступно-суровыми, началось обсуждение.

Опера подверглась самой ожесточенной критике, в духе печально известной статьи «Сумбур вместо музыки». Шостакович слушал ораторов, сидя один на большом диване. Он прислонился к его широкой спинке, словно ища в ней опору. Глаза его были закрыты. Ему, наверное, было невтерпеж смотреть на своих коллег, изощрявшихся в ругани. На его лице время от времени появлялась болезненная гримаса.

Я, к величайшему неудовольствию комиссии, говорил два раза, говорил взволнованно, горячо о необходимости незамедлительно поставить великую оперу, музыка которой двадцать лет тому назад была объявлена «сумбуром».

Г.Н. Хубов то и дело прерывал меня резкими визгливыми выкриками, пытаясь сбить. Ему этого сделать не удалось, хотя, в конечном счете, речь моя осталась гласом вопиющего в пустыне.

Комиссия единодушно решила не рекомендовать к постановке «Леди Макбет», ввиду ее крупных идейно-художественных дефектов.

14 марта 1956 года я вернулся из Москвы домой, так и не очухавшись, не придя в себя от вторичной казни «Леди Макбет», на этот раз учиненной просвещенными музыкантами.

## XVIII

По горячим следам я сделал короткую запись об этом достопамятном заседании, о котором, по всей вероятности, биографы Шостаковича ничего не знают. Я позволю себе процитировать эту запись, с некоторыми купюрами:

«Обсуждение «Леди Макбет» можно назвать постыдным. Хубов, Кабалевский и Чулаки все время ссылались на статью «Сумбур вместо музыки». Особенно усердствовали Хубов и Кабалевский. Они сравнивали отдельные куски музыки с разными абзацами этой статьи, наполненной бранью. Они при этом повторяли, что статью до сих пор никто не отменял, и она сохранила свою силу и значение. Еще бы! Ведь в ней говорится, что в опере «музыка ухает, крикает, пыхтит и задыхается».

Кабалевский делал комплименты некоторым местам оперы, и это было вдвойне неприятно слушать. В заключение он сказал (в качестве председателя комиссии), что оперу ставить нельзя, так как она является апологией убийцы и развратницы, и его нравственность этим очень ущемлена... Я говорил довольно убедительно, но все мои доводы разбивались об эту статью, которой Кабалевский и Хубов размахивали, как дубинкой.

В конце прений Кабалевский просил высказаться Дмитрия Дмитриевича, называя его с дружеской фамильярностью Митей, но тот от-

## XVIII

казался говорить, с удивительным самообладанием поблагодарив за критику. На душе у него кошки скребли. Мы с ним поехали в ресторан и изрядно напились, не от горя, а от отвращения. Это было в «Арагви», в отдельном кабинете. Дмитрий Дмитриевич встал из-за стола, подошел ко мне и сказал: «Ты мой первый и самый верный и самый любимый друг. Спасибо». Он имел в виду и мое поведение на сегодняшнем заседании...»

Михаил АРДОВ:

«Арагви» был самым знаменитым в Москве рестораном, мы все его очень любили. Как только у кого-нибудь из нашей компании заводились деньги, мы немедленно отправлялись именно в «Арагви». Там нас встречал и обслуживал официант по имени Леша. В чертах его лица наличествовало нечто негритянское, потому Максим Шостакович придумал ему прозвище «Поль Робсон».

В особо торжественных случаях (чей-нибудь день рождения) нам предоставляли отдельный кабинет. И вот я вспоминаю — канун дня рождения Максима. Мы с ним прибыли в ресторан, и «Поль Робсон» принимает у нас заказ для завтрашнего банкета.

Максим говорит:

— Восемь бутылок хорошего сухого и пять бутылок водки...

## XVIII

«Поль Робсон» перебивает его:

— Максим, ты что, с ума сошел?! Ты хочешь здесь заказать водку, а не принести ее с собой?! Этого даже мы себе не позволяем!..

Забавные были времена. Официант из «Арагви» всерьез полагал, что на социальной лестнице он стоит выше, нежели сын величайшего из композиторов.

Но обратимся к год у 1956-ому, когда на квартире у Шостаковича заседала комиссия Министерства культуры. Обсуждение, которое там происходило, было унижительным для великого композитора, но тем не менее это можно назвать «бурей в стакане воды». В особенности если сравнить это заседание с тем, что происходило за двадцать лет до того — зимою тридцать шестого года

**Соломон ВОЛКОВ:**

В Архангельске, в морозный зимний день, Шостакович встал в очередь в газетный киоск. Очередь двигалась медленно, и Шостакович дрожал от холода. Купив главную газету страны «Правду» (ее тогда официально именовали ЦО, т.е. «центральным органом»), от 28 января 1936 года, Шостакович развернул ее и на третьей полосе увидел редакционную статью (без подписи) под заголовком «Сумбур вместо музыки». В подзаголовке стояло в скобках: «Об опере “Леди Макбет Мценского уез-

да»)». Шостакович тут же, не отходя от киоска, начал читать. От неожиданности и ужаса его зашатало. Из очереди закричали: «Что, браток, с утра набрался?»

Даже и теперь, десятилетия спустя, невозможно читать «Сумбур вместо музыки» без содрогания. Нетрудно понять, почему 29-летний композитор почувствовал, что земля под ним разверзлась. Его оперу, любимое его детище, уже завоевавшее признание во всем мире, абсолютно неожиданно подвергли грубому, бесцеремонному, безграмотному разносу.

**М и х а и л А Р Д О В :**

Вот несколько пассажей из той давней статьи:

«Слушателя с первой же минуты ошарашивает в опере нарочито нестройный сумбурный поток звуков. Обрывки мелодии, зачатки музыкальной фразы тонут, вырываются, снова исчезают в грохоте, скрежете и визге. Следить за этой «музыкой» трудно, запомнить ее невозможно.»

«Музыка крикает, ухает, пыхтит, задыхается, чтобы как можно натуральнее изобразить любовные сцены. И «любовь» размазана по всей опере в самой вульгарной форме.»

«Это — музыка, умышленно сделанная «шиворот-навыворот» — так, чтобы ничто не напоминало классическую музыку, ничего не было

## XVIII

общего с симфоническими звучаниями, с простой, общедоступной музыкальной речью.»

Вслед за этой статьей в «Правде» появилась еще одна «директивная публикация» под названием «Балетная фальшь», там мишенью был тот же Шостакович, в частности его балет под названием «Болт». За сим, как тогда водилось, начались собрания деятелей культуры, на которых полагалось каяться в своих ошибках, превозносить мудрость партийных руководителей и «лично товарища Сталина».

В сборнике «Шостакович Urtext» (М., 2006) опубликован любопытнейший текст — полная стенограмма «Творческой дискуссии в Ленинградском союзе советских композиторов». «Мероприятие» продолжалось четыре дня — с 21 по 26 февраля 1936 г., там выступило 36 ораторов (не считая тех, кто подавал реплики), в книге этот материал, набранный мелким шрифтом, занимает 226 страниц.

Наибольшую жалость вызывает Иван Иванович Соллертинский. В своей речи он — слава Тебе Господи! — своего друга Шостаковича не предал, но ему пришлось прилюдно «каяться». Вот, как он, бедняга, начал свое выступление:

«В той литературе, газетной и журнальной, которая появилась после опубликования двух исторических статей в ЦО «Правде», в этой литературе чрезвычайно часто упоминалась и моя фамилия. <...>



## XVIII

Я не буду оскорбляться, обижаться и т.д., а хочу поговорить о самых центральных и существенных проблемах. Первое — это о моем полном и безоговорочном согласии с теми двумя статьями «Сумбур вместо музыки» и «Балетная фальшь», которые появились в ЦО «Правде» три недели тому назад.»

А вот пассаж из резолюции того собрания:

«Указания ЦО «Правда» от 28 января и 6 февраля, имеющие огромное значение для развития всего фронта советского искусства в борьбе за осуществление лозунга товарища Сталина о социалистическом реализме, должны быть положены в основу всей дальнейшей деятельности Ленинградского союза советских композиторов и стать решающим стимулом в творчестве каждого композитора, действительно преданного нашей родине и безраздельно связывающего свою жизнь с героической борьбой пролетариата за построение бесклассового социалистического общества.»

Две с лишним сотни страниц, которые занимает стенограмма, невозможно читать без горечи и стыда. И вот еще какое обстоятельство усугубляет этот позор. Среди участников и ораторов довольно много людей немолодых, принадлежавших к хваленой «русской интеллигенции». Наверняка кое-кто из них в свое время «боролся с царской цензурой», а

## XVIII

потом радостно приветствовал «февральскую революцию»... Но не прошло и двух десятилетий, и эти люди хором восхваляют чудовищные статьи в «ЦО» и готовы лизать сапоги «кремлевскому горцу».

В этой связи мне на память пришла замечательная метафора, это я когда-то прочел у Владимира Набокова. Он писал о том, что российские либералы с давних времен видели впереди некое зарево, эдакий ослепительный свет... Но в конце концов оказалось, что их манила к себе мутная лампочка, которая горит в окошке тюремного надзирателя.

Отрадно сознавать, что сам Дмитрий Дмитриевич на том собрании не присутствовал - он вообще уехал из Ленинграда. Друг семьи Шостаковичей, Анна Семеновна Вильямс вспоминала: «Он снял комнату и жил в Москве долго. Ходил по комнате с вафельным полотенцем и говорил, что у него насморк, скрывая слезы. Мы его не покидали, дежурили по очереди: Левушка Оборин, Шебалин и я. В комнате стоял рояль, но он к нему не подсаживался. Не пил. Ездил на футбольные матчи. Я с ним ездила и изучила футбольные правила. Шебалин пытался чем-то помочь, что-то выяснить, но безуспешно.»

В те дни Шостакович писал своему приятелю композитору Андрею Баланчивадзе: «Я за это время очень много пережил и передумал.

## XVIII

Пока додумался до следующего: «Леди Макбет» при всех ее больших недостатках является для меня таким сочинением, которому я никак не могу перегрызть горло... Но мне кажется, что надо иметь мужество не только на убийство своих вещей, но и на их защиту.»

**МАКСИМ:**

Шостакович написал не только музыку, но и либретто «Леди Макбет Мценского уезда», потому эта опера была вдвойне любимым его детищем. Он вообще ко всем своим произведениям относился как к детям. И те из них, которые наиболее пострадали от запретов, от несправедливой критики, были для него дороже прочих. А у «Леди Макбет» была не то чтобы драматическая, но воистину трагическая судьба. Шостакович-либреттист явственно представлял себе, как именно это должно не только звучать, но и выглядеть на сцене.

Театральные режиссеры зачастую позволяли, да и позволяют себе совершенно абсурдные вещи. Я сам, например, видел в одной из недавних постановок такую «находку». Персонаж, именуемый «Задрипанный мужичонка», как известно, поет: «У Измайловых труп в погреб!» Так вот, в том спектакле, о котором я говорю, труп был помещен не в погреб, а в багажник автомобиля «Лада», каковой для этой постановки специально выписали из Москвы.

## XVIII

Такая бредовая идея. Я этому режиссеру выразил свое недоумение: дескать, следует придерживаться авторского замысла. А он мне: «Ну, Максим Дмитриевич, теперь уже так никто не работает...» В той же постановке другая несообразность: Катерина поет: «Батраки крупчатку ссыпают». Муку то есть. А у него там персонажи в пластмассовых касках, и у них мешки с цементом... В другой постановке вместо полицейских на сцене появляются сотрудники советского КГБ...

Шостакович не терпел подобных вещей, потому старался участвовать в подготовке всех «Леди Макбет». Лучшим он считал спектакль в Киевском театре оперы и балета (дирижер К.А. Симеонов, режиссер И.А. Молостова, премьера состоялась в марте 1965 года).

**Дмитрий ШОСТАКОВИЧ** (*письмо И.А. Молостовой*):

«Я уже видел несколько постановок моей оперы. В лондонской постановке и особенно в загребской был очень сильный крен в сторону эротики, что совершенно недопустимо. Кое-что в Лондоне и в Загребе мне удалось исправить. В Лондоне больше, чем в Загребе.

Мне очень хочется, чтобы в 5-й картине Катерина Львовна ухаживала за избитым накануне Сергеем, как это может делать любящая

## XVIII

женщина. Эротика тут недопустима. Главные эмоции Катерины Львовны — это любовь и жалость к Сергею, страх за себя и Сергея, угрызения совести после убийства Бориса Тимофеевича. Сергей должен быть подлецом. Но в то же время он должен быть таким, чтобы было понятно, почему Катерина его полюбила. Он должен быть внешне не ничтожным. В Театре имени Станиславского он уж очень ничтожен, и непонятно, как такое ничтожество смогла полюбить Катерина...»

*Дмитрий ШОСТАКОВИЧ (записи на репетиции в Киевском театре оперы и балета):*

«2-я картина. Катерина и Сергей борются, держа друг друга в объятиях. Надо бороться за предплечья и мериться силой: кто подастся назад? Когда после борьбы появляется Борис Тимофеевич, Катерина должна быстро вскочить или сесть. Не залеживаться...»

3-я картина. Когда Сергей входит в спальню, в дверях яркий свет. Откуда он взялся? Ведь дело происходит ночью! В конце картины после «Моя Катя!» сразу гасить свет и давать занавес...

5-я картина. После слов «Крепче прижми меня к сердцу!» убрать свет. Пусть играет музыка и больше ничего. Перед приходом Зиновия Борисовича Катерина и Сергей очень громко говорят. Лучше шепотом или полушепотом.

## XVIII

6-я картина. Задрипанный мужичонка не должен легко проникать в погреб, надо сорвать замок или выломать дверь.

4-й акт. Глумление Сонетки над Катериной. Сонетка должна быть более злобной. В Сергея она не влюблена. Поцелуй с Сергеем мне кажется лишним.

Старый каторжник должен быть старше. Пусть он будет похож на Льва Толстого.

После окончания каждого акта надо быстрее давать свет в зрительный зал, чтобы зрители узнали, что сейчас будет антракт и можно идти в буфет... Все остальное поставлено здорово!!!»

# XIX

ГАЛИНА:

Наша машина едет по Приморскому шоссе, я за рулем, отец — рядом со мною. Волнуюсь я ужасно: сейчас мы въедем в Ленинград, где снуют тысячи машин. А водительского опыта у меня кот наплакал.

Было это летом пятьдесят шестого года. В начале лета нашу «Победу» перегнали в Комарово, и она там преспокойно стояла. И тут вдруг отец мне объявляет: «Завтра повезешь меня в Ленинград».

Волновалась я напрасно, все прошло очень хорошо. Главным образом потому, что он мною руководил: предупреждал о поворотах, указывал, в каком ряду двигаться. Теорию вождения отец знал назубок. А вот с практикой были проблемы, и за руль он старался не садиться.

## XIX

При покупке нашей первой «Победы» вышла такая история. Тогда получение машины было делом канительным, и, разумеется, требовалось непременно присутствие будущего хозяина. Так что отец сам поехал в магазин и пригнал машину. Ехала она плоховато.

Поставив автомобиль возле нашего дома, отец запер дверцу и хотел было идти. В этот момент его окликнул какой-то шофер: «Эй, в очках! Смотри, что у тебя с машиной!» Отец поглядел и увидел, что от колес идет дым. Оказалось, что все расстояние от магазина до дома он ехал со включенным ручным тормозом.

МАКСИМ:

Я помню еще одну историю в этом роде, ее мама рассказывала. Как-то она сказала отцу: «У тебя же есть права, давай поедем на машине куда-нибудь за город...» Они отправились на Собачью площадку, там у нас был гараж. Отец сел за руль, завел машину, стал выезжать. Но при этом забыл закрыть дверцу, задел ею за ворота, и она почти оторвалась. В результате поездка отменилась, родители заперли гараж и вернулись домой.

При всем этом отец иногда пародировал шоферский жаргон, говорил: «Поршня, скоростя — я в этом ничего не понимаю!» А еще он рассказывал такой случай с замечательной арфисткой Верой Дуловой. После концерта к



ней подошла какая-то тетка, указала на педаль арфы и спросила: «А это у вас — скоростя?»

ГАЛИНА:

Мне представляется, что вождение автомобиля было Шостаковичу психологически противопоказано. Он был слишком эмоциональным, ранимым, и это — в сочетании с повышенным чувством ответственности...

Исаак ГЛИКМАН:

По установленному Дмитрием Дмитриевичем обычаю он меня встречал на вокзале. На этот раз из-за болезни шофера он сам решился править машиной и на пути домой совершил маленькую оплошность: дал гудок в недозволенном месте. В мгновение ока явился грозный страж порядка, приведший Шостаковича в крайнее волнение. Ему, конечно, не пришло в голову показать милиционеру чину свой мандат депутата Верховного Совета (это противоречило его жизненным правилам): он послушно протянул водительские права. Милицейский чин сурово отчитывал нарушителя, пока не прочел его фамилию, справившись при этом, не является ли он композитором. Дмитрий Дмитриевич хмуро удовлетворил любопытство милицейского чина и был отпущен на все четыре стороны... Как ни

странно, но этот незначительный инцидент вывел из равновесия очень нервного Шостаковича.

ГАЛИНА:

Шостакович подходит к автомобилю, берет за ручку двери. И тут нечто невообразимое — удар электрическим током! Отец в ужасе отскакивает от машины, с него спадают очки.

Это сработала самодельная противоугонная система, которую установил наш тогдашний шофер Александр Львович Лимонадов. Разумеется, после того как первой жертвой его хитроумного изобретения стал сам хозяин, устройство было забраковано.

Лимонадов работал у отца несколько лет, а потом его сменил другой водитель, его звали Виктор Гогонов, с ним тоже связано много смешных историй.

В Лаврушинском переулке, прямо напротив Третьяковской галереи, стоит высокий дом, в котором имели квартиры многие московские писатели. В первом этаже этого здания долгие годы располагалось Управление по охране авторских прав, где выдавали деньги литераторам и композиторам, чьи произведения исполнялись публично. Там же была и сберегательная касса, куда эти гонорары переводились.

В своих поездках по стране Шостакович тратил много денег, и по возвращении в

Москву ему необходимо было сразу же побывать в Лаврушинском — снять со счета очередную сумму. Гогонов объяснял эти регулярные поездки по-своему:

— До чего же все-таки Дмитрий Дмитриевич интеллигентный, культурный! Вот уедет из города на недельку-другую, вернется в Москву — и прямо с вокзала катит в Третьяковскую галерею!..

МАКСИМ:

С этим Гогоновым был еще такой случай. Он как-то зашел к нам домой и увидел, что я сижу за роялем. И вот он говорит:

— Дай-ка я попробую сыграть — «Подмосковные вечера»...

Стал нажимать на клавиши правой рукой, но как-то неуверенно, коряво. И вдруг говорит: «Подожди, я знаю, в чем дело!» Тут он подлез под рояль, высунул оттуда руку и сыграл мелодию гораздо увереннее. Оказывается, он был аккордеонист-любитель и привык к тому, что клавиши размещаются вдоль его живота.

А теперь — что касается Управления по охране авторских прав. Однажды мне довелось сопровождать туда отца. Подойдя к кассе, мы увидели стоящего рядом с кассой Жана Поля Сартра, который старательно пересчитывал довольно толстую пачку купюр. Надобно заме-

тить, что в те времена в Советском Союзе иностранцам гонораров не выплачивали. Делалось это в исключительных случаях, для поощрения тех деятелей, которые приносили особенную пользу большевистскому режиму. Как видно, Сартр входил в их число.

Отец метнул на француза быстрый взгляд и шепнул мне в самое ухо:

— Мы не отрицаем материальной заинтересованности при переходе из лагеря реакции в лагерь прогресса.

Михаил АРДОВ:

Шостакович спародировал весьма известный в те годы афоризм Ленина: мы (то есть коммунисты) не отрицаем материальной заинтересованности рабочих при повышении производительности труда.

ГАЛИНА:

Шостакович быстрыми шагами переходит от одного рояля к другому, потом к третьему, к четвертому, пробует, как звучит каждый из них.

Это происходит в Хельсинки, в огромном магазине Стокмана, на самом верхнем этаже, где продают музыкальные инструменты.

Один из роялей понравился отцу больше других, и все, в том числе он сам, были убеждены, что покупка совершится.

## XIX

Но судьба распорядилась иначе...

В 1958 году Шостаковичу была присуждена премия имени Яна Сибелиуса, и для получения этой награды отец поехал в столицу Финляндии. Мне довелось сопровождать его в поездке, было это в начале октября.

Кроме рояля, мы собирались купить кое-какую мебель, что-то из одежды, поскольку в Москве ничего пристойного приобрести было невозможно. Премия Сибелиуса составляла кругленькую сумму в долларах, и наши планы казались вполне осуществимыми.

А тут, накануне самого вручения премии, некое облеченное властью лицо объявило отцу: дескать, «есть мнение» (такая тогда была формулировка, она выражала категорический приказ), что денежную часть премии надлежит пожертвовать Обществу финско-советской дружбы. Так что все наши приобретательские планы рухнули в одночасье. Да и не только приобретательские: мы планировали остаться в Финляндии на несколько дней, проехаться по стране. Но, поскольку деньги у отца отобрали, он решительно объявил:

— Завтра же уезжаем домой!

И пробыли мы в Хельсинки всего три дня..

Еще дома, в Москве, как только отец объявил, что возьмет меня с собою в Финляндию, мой жених, мой брат и наши общие приятели

стали просить меня привезти им подарки. Все просьбы были одинаковые — каждый просил жевательную резинку и финский нож.

Как только мы приехали в Хельсинки, отец выдал мне деньги на покупку сувениров, а каких именно, разумеется, он не знал. Начала я с жевательной резинки, которую можно было купить в вестибюле нашей гостиницы. Это приобретение имело несколько неожиданное последствие. Некий тип, кажется, из посольских, сказал отцу:

— Дмитрий Дмитриевич, знаете ли вы, что ваша дочь воспользовалась автоматом по продаже жевательной резинки? Прошу вас предупредить вашу дочь, чтобы она нигде и ни в каком случае резинку не жевала, это здесь считается совершенно неприличным.

Финские ножи я купила в какой-то сувенирной лавке, перед отъездом в Москву. Но когда я стала укладывать свои вещи, в номер зашел отец и увидел на дне моего чемодана пять этих самых ножей. Человек осторожный и законопослушный, он пришел в ужас:

— Ты что купила?! Ты вспомни, что пишут в таможенной декларации: оружия нет. А тут — холодное оружие! Нас задержат на границе!

И все же мне удалось его успокоить, объяснив, что это здешние сувениры. Кроме того, я обещала отцу выбросить ножи, если они привлекают внимание на таможне. Но все обошлось

благополучно, наш багаж пропустили без всякой проверки.

В отличие от обычных советских людей Шостакович вообще не любил ездить за границу. Прежде всего потому, что не мог, не имел права раскрывать свои истинные мысли и чувства. Он знал, что настырные журналисты наверняка станут задавать провокационные вопросы. Наконец, ему — всемирной знаменитости — было унижительно находиться за рубежом без достаточного количества денег, а денег отцу выдавали, как и всем соотечественникам, ничтожно мало.

Я вспоминаю еще одну характерную историю, происшедшую в 1950 году. Шостакович был приглашен в Германию, где состоялось празднование по случаю двухсотлетия со дня смерти Баха. И там к нему заявила группа маститых музыкантов, которые предложили купить огромный альбом, изданный с благотворительной целью. Цена была несообразно высокая, поскольку деньги от продажи юбилейного издания шли на помощь престарелым и больным оркестрантам. Отказаться от покупки Шостаковичу было неудобно, альбом он взял и сказал, что деньги отдаст позднее. После чего отправился в советское посольство, занял у кого-то требуемую сумму и таким образом вышел из неловкого положения.

Как я помню, по возвращении в Москву он имел разговор с высоким начальством, чуть ли не с самим Молотовым. Отец заявил, что категорически отказывается от последующих поездок за границу, поскольку не может быть застрахован от повторения подобных, позорящих его, да и нашу страну, ситуаций.

Михаил АРДОВ:

Советские чиновники строго следили за деятелями искусства, дабы те не могли «обогащаться», то есть получать достойное вознаграждение за свой труд. В особенности строго ограничивались заработки артистов, выезжавших на гастроли за границу. Деньги, которые им причитались, государство присваивало почти целиком. Каждый советский гражданин, если он находился за рубежом и получал гонорар за выступление, лекцию или публикацию в прессе, был обязан отдать в советское посольство 80 процентов от заработанной суммы.

Рассказывают, что, незадолго до своей эмиграции, Мстислав Ростропович побывал в столице Западной Германии – Бонне. Там ему довелось выступить в каком-то клубе, где вместо гонорара ему преподнесли большую хрустальную вазу. Сразу после концерта великий музыкант поехал в советское посольство. Он зашел в вестибюль и тут же изо всей силы



## XIX

швырнул роскошную вазу об пол так, что она разбилась вдребезги. Подобрал примерно пятую часть кусочков хрусталя, Ростропович указал удивленным дипломатам на оставшиеся осколки:

— А вот это — вам. Заберите, пожалуйста.

ГАЛИНА:

— Ты идешь гулять с собакой? Опустит, пожалуйста, письма, — просит отец.

Он писал очень много писем. Всякий день на его столе накапливалась стопка конвертов и открыток. Надписывал он их не по-советски небрежно — сначала фамилию, а потом инициалы адресата, а так, как это полагалось в старой России, уважительно — полностью имя, отчество, и уже затем фамилия.

Почти все письма Шостаковича — краткие, деловые. Но иногда, самым близким своим друзьям, он писал несколько подробнее и, я бы сказала, эмоциональнее. Но и в этих случаях больше иронии, нежели лирики: отец был невероятно сдержанным, наглухо закрытым для посторонних людей человеком.

Чтобы представить себе его эпистолярное наследие, полезно обратиться к тем письмам, что сохранили в своих архивах ближайшие друзья Шостаковича — Иван Иванович Соллертинский и Исаак Давыдович Гликман. Там, наряду с множеством кратких записок, есть письма весьма существенные, которые приоткрывают чувства и мысли автора.

Я не случайно употребила слово «приоткрывают». Люди поколения нашего отца знали: переписка проходит перлюстрацию.

Последнее обстоятельство заставляло Шостаковича прибегать к эзопову языку, и, надо отдать ему должное, делал он это виртуозно. Стиль некоторых его писем напоминает его любимых писателей Гоголя и Зощенко. И вот еще что. Переписка с Гликманом дает исчерпывающий ответ на вопрос: каково было подлинное отношение Шостаковича к советской власти, во всех ее чудовищных и крайне безвкусных проявлениях.

**Дмитрий ШОСТАКОВИЧ** *(из писем к Гликману):*

«В Союзе Советских композиторов должно было состояться ее (Восьмой симфонии. — Г.Ш.) обсуждение, каковое было отложено из-за моей болезни. Теперь это обсуждение состоится, и я не сомневаюсь, что на нем будут

произнесены ценные критические замечания, которые вдохновят меня на дальнейшее творчество, в котором я пересмотрю свое предыдущее творчество, и вместо шага назад сделаю шаг вперед». (8 декабря 1943 г.)

«Мой желудок перестал высоко держать свою обязанность хорошо переваривать пищу». (6 мая 1953 г.)

«Целыми днями сижу на съезде композиторов. Вечерами бываю на праздничных премьерах новых выдающихся музыкальных произведений. Но не всегда эти праздники оборачиваются для меня праздниками». (19 декабря 1968 г.)

«Из эстетических впечатлений отмечу пластинку с цыганским пением. Это великолепно, хотя и очень грустно. Поет певица Волшанинова и цыганский хор. Слушая ее, льются слезы, и появляется желание выпить и закутить». (30 августа 1967 г.)

«29.XII.1957. Одесса.

*Дорогой Исаак Давыдович!*

Приехал я в Одессу в день всенародного праздника 40-летия Советской Украины. Сегодня утром я вышел на улицу. Ты, конечно, сам понимаешь, что усидеть дома в такой день

нельзя. Несмотря на пасмурную туманную погоду, вся Одесса вышла на улицу.

Всюду портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, а также т.т. А.И. Беляева, Л.И. Брежнева, Н.А. Булганина, К.Е. Ворошилова, Н.Г. Игнатова, А.И. Кириленко, Ф.Р. Козлова, О.В. Куусинена, А.И. Микояна, Н.А. Мухитдинова, М.А. Суслова, Е.А. Фурцевой, Н.С. Хрущева, Н.М. Шверника, А.А. Аристова, П.Н. Поспелова, Я.Э. Калнберзина, А.П. Кириченко, А.Н. Косыгина, К.Т. Мазурова, В.П. Мжаванадзе, М.Г. Первухина, Н.Т. Кальченко.

Всюду флаги, призывы, транспаранты. Кругом радостные, сияющие русские, украинские, еврейские лица. То тут, то там слышатся приветственные возгласы в честь великого знамени Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, а также в честь т.т. А.И. Беляева, Л.И. Брежнева, Н.А. Булганина, К.Е. Ворошилова, Н.Г. Игнатова, А.И. Кириченко, Ф.Р. Козлова, О.В. Куусинена, А.И. Микояна, Н.А. Мухитдинова, М.А. Суслова, Е.А. Фурцевой, Н.С. Хрущева, Н.М. Шверника, А.А. Аристова, П.Н. Поспелова, Я.Э. Калнберзина, А.П. Кириленко, А.Н. Косыгина, К.Т. Мазурова, В.П. Мжаванадзе, М.Г. Первухина, Н.Т. Кальченко, Д.С. Коротченко.

Всюду слышна русская, украинская речь. Порой слышится зарубежная речь представителей прогрессивного человечества, приехав-

ших в Одессу поздравить одесситов с великим праздником. Погулял я и, не в силах сдержать свою радость, вернулся в гостиницу и решил описать, как мог, всенародный праздник в Одессе.

*Не суди строго.  
Крепко целую.  
Д.Шостакович».*

Михаил АРДОВ:

Официальная советская пропаганда всегда выглядела пародийной, поскольку была примитивной и вызывающе безвкусной. Мне вспоминается такой эпизод: году в пятьдесят шестом или пятьдесят седьмом мы с младшим братом Борисом воодушевились некоей идеей. И вот мы сочиняем стихотворные лозунги... Брат пишет их на ватманской бумаге... Мы возимся с проводкой... Мы бежим на Пятницкую улицу в книжный магазин и покупаем там политические брошюры...

И уборная в квартире на Ордынке преобразуется. Там появляется полка с брошюрами, там висит репродуктор, который, не смолкая, бубнит про «наши достижения»... Там красочные лозунги:

*Превратим наши сортиры.  
В главполитпросвет квартиры!*

*Отправляя здесь нужду  
(физиологическую),  
Не забывают про вражду  
(социально-политическую)!*

Смеху было много, но все это просуществовало лишь несколько часов. Родители наши и Ахматова признали шутки небезопасными, и сортир на Ордынке снова стал самым прозаическим местом.

Но я возвращаюсь к письму Шостаковича из Одессы. Оно свидетельствует о том, что у Шостаковича был незаурядный сатирический талант, недаром он так любил Зощенко. Дмитрий Дмитриевич является автором цикла сатир на стихи Саши Черного и ставшего теперь популярным «Антиформалистического райка».

**Соломон ВОЛКОВ:**

В своем «Антиформалистическом райке» Шостакович вывел советских вождей под достаточно прозрачными именами — товарищей Единицына и Двойкина, выступающих на некоем Дворце культуры с осуждением формалистической музыки антинародных композиторов. Товарищ Единицын распевает свой текст на музыку грузинской народной песни «Сулико». В Советском Союзе всем, от мала до велика, было известно, что «Сулико» — любимая песня Сталина, так что этот намек был по-

нятен сразу. А Двойкин, напевая вальс, требует от музыки, как и Жданов, «красоты и изящества» и, как тот, сравнивает сочинения формалистов с бормашиной и музыкальной душегубкой.

А когда в финале опуса Шостаковича на музыку заливчатского канкана из французской оперетки Сталин призывает бороться с буржуазными идеями, а тех, кто ими заражен, велит сажать в лагеря строго режима, то сикофанты с величайшей готовностью подхватывают и эти указания вождя: «Смотри туда, смотри сюда — и выкорчевывай врага!»

Фокус заключается в том, что этот злоежкий финал-апофеоз написан Шостаковичем с таким издевательским блеском, что в концертах он всякий раз бисируется. Я присутствовал на нескольких памятных исполнениях «Антиформалистического райка» на Западе (дирижировали Мстислав Ростропович, Владимир Ашкенази, Владимир Спиваков). И хотя певцы пели по-русски и слушатели не понимали подавляющего большинства рассыпанных по тексту словесных и музыкальных аллюзий и намеков, публика в зале неизменно покатывалась от хохота.

**Михаил АРДОВ:**

Не могу отказать себе в удовольствии привести здесь еще один любопытный текст — он



выглядит столь же пародийным, как и письмо Дмитрия Дмитриевича к Гликману. Но — увы! — документ, который я сейчас процитирую, писался всерьез, с надеждой на то, что советские чиновники оценят патриотическое рвение автора.

Я предлагаю читателю ознакомиться с припиской, которую когда-то собственноручно сделал композитор Вано Мурадели на последней странице своей оперы «Великая дружба». Экземпляр с этим автографом хранился в библиотеке Союза композиторов, именно там приписку обнаружил Мстислав Леопольдович Ростропович. От него текст попал к Максиму Шостаковичу, а тот передал его мне.

Дальнейшие комментарии, полагаю, излишни.

Вот что без тени иронии писал Мурадели:

«Если позволят сценические возможности, хочется: чтобы после залпа «Авроры» на сцене стали подниматься цветущие сады — как символ счастливого и цветущего Советского народа наших дней; чтобы за этими цветущими садами поднялся великий Советский народ: пионеры в красных галстуках, рабочие и работницы, коммунисты и комсомольцы, вся советская молодежь, доблестные войны Советской армии и Военно-морского флота, славные хлеборобы нашей страны, бесстраш-

ные космонавты и мудрые ученые; чтоб за их могучей спиной раскинулись плодородные колхозные поля; чтоб, как морской прибой, зашумела целинная пшеница; чтоб поднялись величественные стройки коммунизма; чтоб весь советский народ присоединил свой могучий голос к революционному кличу героев Октября; чтоб они вместе, общим хором вдохновенно спели заключительные слова оперы:

Наша вера светлая крепка, Наше счастье — счастье на века — Вот великий путь большевика! Вперед! Вперед! Вперед!!!

Пусть слова «Вперед! Вперед! Вперед!!!» прозвучат не только, как призыв к штурму Зимнего дворца, пусть они явятся зовом всех народов советской страны, зовом родной Коммунистической партии — идти все вперед и вперед к светлым вершинам коммунизма!

*Вано Мурадели».*

Михаил АРДОВ:

И еще об эпистолярном наследии Дмитрия Дмитриевича. В собрании его писем к И.И.Соллертинскому есть истинные шедевры, и я не могу отказать себе в удовольствии полностью привести здесь поразительный текст, написанный молодым еще гением.

«7 VIII 1929. Тихорецк

Дорогой Иван Иванович. Судьба, как говорится, играет человеком. Думал ли я, что очутюсь в городе Тихорецке? Нет, не думал. А вот очутился <...>! Да еще как. Расскажу по порядку. 3 VIII в Пятигорске я купил билет на самолет «Укрповітрушляха», отлетающий 6 VIII. Заплатил 54 рубля и хвастался, что, дескать, лечу. Самолет должен был отлететь из Минеральных вод в 3 часа ночи. С последним поездом я уехал в Мин. воды. В 2 ч. ночи двинулся с вокзала на аэродром. Темно. Злющие собаки хватают за икры. Испугался я и вернулся на вокзал. Там со мной вел очень любезный разговор красноармеец, смотрящий за порядком. Я его спрашиваю, как пройти на аэродром? Он, узнав, что я пассажир, рекомендовал идти туда к 4—5 утра, когда посветлеет. «Ночью туда не подпускают. Кто подойдет ближе, чем на 100 шагов, того застреливают»!!! Я испугался и позвонил по телефону. Телефон ответил, что самолет отлетает часиков в 6—7. Это вместо 3-х. Ни на минуту не засыпая, я дождался рассвета и пошел на аэродром, в душе побаиваясь, что моя ценная жизнь будет пресечена. Пришел на аэродром. Никого. Ни часового, ни сторожа, никого. Только 2 самолета. Через 2—3 часа пришел какой-то паренек. Я навожу справку. «Часов в 8—9 полетит.» Это вместо 3-х. Жду. Затем является очень красивый на-

чальник станции. Он меня спрашивает, предварительно пожелав доброго утра: «Вы тот самый пассажир, что летите в Сочи?» Я ответил, что нет, ибо лечу в Москву. «В Москву», — воскликнул он, искренно пораженный. «В Москву. Вот оказия.» Здесь он почесал самопишущим пером затылок, отчего последний несколько запачкался. Видя, что я недоумеваю, он пояснил. «Видите, — говорит, — я решил продать билет до Сочи, а Вам продали до Москвы.» Я: «Что же делать?» «Вот что. Вы вылетайте в Тихорецк, а там вас тов. Гусев устроит.» «А кто это тов. Гусев?» «Это нач. станции Тихорецк. Я к нему дам записку.» Записку он написал, и ровно в 11 ч. (вместо 3-х) я полетел. Меня не тошнило и не качало. Было очень хорошо, только очень хотелось спать. Прилетел я в Тихорецк. Когда я прилетел, тов. Гусев отсутствовал. С аэродрома я пошел в город. 5 верст пешком, по степи, под палящим солнцем. Потом пошел снова на аэродром и передал тов. Гусеву записку. Он прочел, мило улыбнулся и сказал: «Придется вам переночевать в Тихорецке, а завтра в 5 ч. утра Вы полетите.» Я: «А наверное полечу?» Он: «Ну, раз я говорю, то наверное. Ведь если бы не наверное, то я бы не говорил.» Я извинился и воспрял духом. В это время прилетел самолет из Москвы и привез 3-х пассажиров, едущих в Сочи. Ввиду того, что время было позднее, само-

лет дальше не полетел, и пассажиры эти тоже должны были переночевать в Тихорецке. Тов. Гусев повез нас устраивать на ночь. Меня и еще одного он устроил у извозчика по фам. Мороз, других двух у извозчика по фам. Освальд (родственник Оси Освальда). Переспали. На другой день все мы поехали на аэродром. Буду краток. На самолете мест не оказалось, и тов. Гусев предложил мне за счет «Укрповітрушляха» ехать на поезде, т. к. на самолет попасть надежды нету. Я согласился. Все равно погибать. Приехали мы на вокзал. Тов. Гусев выдал мне под расписку 29 р. 10 коп. и познакомил с нач. станции. Тот обещал сделать все, что от него зависит. Если будут места, то поедете. Факт. Сейчас 11 ч. Поезд отходит в 17 часов. Значит мне ждать 6 ч. Сiju и мудрствую, рискнул было пойти в уборную <...>, но у входа в означенную был остановлен властным криком: «Куда?!» Я: «В уборную, отлить малость.» «Нельзя!!!» Я пошел назад. Видя выражение вопроса на моем лице, страж смягчился и сказал, что уборная испорчена. «Мне от этого не легче», как острит Н.А. Малько, когда ему говорят, что сифилис не позор, а несчастье. Когда кончу письмо, пойду искать сортир. Надежды уехать из Тихорецка у меня мало. Я в ужасе и буквально плачу. Дорогой Иван Иванович. Не говори маме, что я в Тихорецке. Я ей сам это напишу. Напишу, что по-

трясенный красотой этого города, я слез с самолета и решил побыть здесь денька 2, дабы насладиться его дивными красотами. Если ты веришь в Бога, помолись за то, чтобы мне хоть когда-нибудь выехать из Тихорецка. Я в ужасе. Что делать, если не будет билета. Опять к извозчику в гости. Какой-то кошмар.

Как ты поживаешь? Я плохо. По приезде в Л-д, если таковой состоится, я засяду за стол и напишу 2 жалобы на издевательства надо мной «Укрповітрушляха». Одну в бюро жалоб Н. К. Р. К. И. У. С. С. Р., другую в правление «Укрповітрушляха». Ты мне помоги составить эти жалобы. Ведь это неслыханное издевательство. У меня из-за этого в голове такой дурак, я еле сдерживаюсь, чтобы не написать: «А у алжирского бея под самым носом вскочила шишка». Все мое путешествие, весь отдых из-за преступного, я бы сказал головоутиательства «Укрповітрушляха» <...>! Мне хочется спать. За 3 суток я спал 4 часа. Мне хочется есть, но ужас меня охватывает при виде превосходно откормленных тараканов, плавающих в борще, который подают в Тихорецке. Сижу и мудрствую. Весь вокзал набит пассажирами, желающими ехать. Они не могут. Нет билетов! Нет! Они ночуют на вокзале и не теряют надежды. Буду и я надеяться. Какой ужас. Я не могу сдержаться и реву. Девочка с безумными глазами (лет 7–8) тычет в меня прутиком и за-

разительно хохочет. Она здесь с матерью только 5 дней. Надеется через 5 выехать.

Вот что. Как получишь это письмо, походи к влиятельным людям и попроси их что-нибудь сделать на предмет моего выезда из Тихорецка. Меня найти можно по адресу «Тихорецк, до востребования». Я не знаю, какой это губернии или области. Сделай это. По дружески умоляю тебя. В общем я сейчас сильно страдаю.

*Крепко тебя целую. Твой Д.Шостакович.»*

М. АРДОВ:

Невозможно пройти мимо такой темы: Шостакович и Одесса. Дмитрий Дмитриевич бывал в этом своеобразном городе множество раз и поддавался его обаянию. Вот небольшая цитата из письма к Соллертинскому (10.09.1936):

«Нравы в Одессе прелестные. Так напр. я вчера ехал в трамвае. Вдруг трамвай остановился, но не на остановке, а между таковыми. «Вагман, вагман» (так только в Одессе зовут вагоновожатых) — закричала кондуктрисса (тоже), — «что встал?» Вагман отвечает: «да вот в этом доме пожар.» «Так подвинь же вагон, чтобы и пассажирам было видно», — крикнула кондуктрисса.»



## XXI

А вот фрагмент из письма тому же адресату от 20.09.1936:

«... еще одно развлечение: вместе с оператором Москвиным я занимаюсь чревоугодием. Ходим мы в Лондонскую гостиницу и заказываем разные феноменальные блюда. Заказываем за один день, накануне. Попутно пьем «джин», «виски», «шерри-бренди» и т.п. роскошные напитки, каковые в Лондонской имеются в изобилии. Это занятие доставляет мне массу удовольствия. Обжираюсь до отупения. Но встаю из-за обеда сытым по горло и в то же время легким как сон. Не чувствуется так называемая нездосытость (нездоровая сытость: вспомни пельмени в шашлычной), а чувствуется здосытость.»

В этом же письме Дмитрий Дмитриевич сообщает:

«Кроме того побывал у проф. Столярского. Прелестный старичок. По инерции 2 мамыши показали мне двух даровитых детей.»

Не могу отказать себе в удовольствии рассказать кое-что о человеке, которого Шостакович назвал «прелестным старичком». В довоенные годы Петр Соломонович Столярский был самым лучшим и самым знаменитым в стране препода-

вателем игры на скрипке. В Одессе он пользовался всеобщим уважением, а музыкальная школа, где он был директором, носила его имя.

По какому-то случаю Столярский оказался в Москве, а в это время в Одессе решалась судьба одаренного ребенка. И вот туда пришла телеграмма из столицы:

«Поступите ему в школу имени мене.»

Столярский и его жена сидели в ресторане. К ним очень долго не подходил официант. Наконец он приблизился со словами:

— Знаю, знаю... Вы сейчас скажете: дайте меню...

— Почему только м е н ю? — удивился Столярский и, указав на жену, добавил, — И ей тоже...

Однажды его пригласили посетить флагманский корабль Черноморского флота — линкор «Червонна Украина». Старика водили по всему судну, угостили обедом в кают-компании, а затем на адмиральском катере доставили к пирсу. Там Столярского ждала машина. От катера к автомобилю его почтительно вел один из офицеров. И усаживаясь на сидение, старик сказал провожающему:

— Я сейчас приеду домой, и жена меня спросит, где я был?.. Так что я ей должен сказать? Какой это был пароход? Грузовой или пассажирский?...

ГАЛИНА:

Наш отец не был врагом бутылки, все его друзья и знакомые знали, что он любит выпить водочки. Когда началась хрущевская оттепель, музыканты стали выезжать на гастроли за границу. Кое-кто привозил оттуда спиртные напитки в качестве подарка Шостаковичу.

В этой связи мне вспоминается такая сценка. Отец сидит за столом, перед ним иностранная бутылка с завинчивающейся пробкой. Нам это было в новинку: отечественная водка в те времена закупоривалась бескозыркой, кусочком мягкого металла, который сразу же выбрасывался. И вот я помню, как отец говорит:

— Их бутылки снабжаются пробками с резьбой, потому что у них бутылка — предмет долговременного пользования. А наша поллитровка — предмет одноразовый, если ты открыл ее — затыкать не потребуется.

И еще он повторял известную в России поговорку:

— Водка бывает только хорошая или очень хорошая. Плохой водки не бывает.

Дмитрий ШОСТАКОВИЧ (*письмо к Гликману*):

«25.11.1974. Жуковка.

*Дорогой Исаак Давыдович!*

«Посылаю при сем этикетку с бутылки из-под водки «Экстра». Стрелка, которую я на-

рисовал на этикетке, указывает на знак качества. Знатоки говорят, что если на этикетке имеется вышеуказанный знак, то это говорит о высоком качестве водки «Экстра». Поэтому я тебе советую: когда будешь покупать «Экстру», обращай внимание на наличие или отсутствие знака качества.

*Будь здоров и счастлив. Сердечный привет от нас Вере Васильевне».*

ГАЛИНА:

Я стою в нашей столовой, передо мною распахнутая дверца больших часов. Радиоприемник вот-вот издаст специфический писк — «сигналы точного времени», и в этот самый момент я должна качнуть маятник. А отец готовится произвести точно такое же действие в своем кабинете.

Он очень любил всякие часы, они у нас были в каждой комнате. А били только те, что стояли на полу в столовой, и те, которые находились у него в кабинете на столе. И вот отец добивался, чтобы бой звучал одновременно, по этой самой причине мы с ним ловили «сигналы точного времени».

А вот единственный в своем роде случай. Я говорю с отцом по телефону, но в трубке что-то трещит, и его голос слышен очень плохо. Он звонит с дачи, из Болшева, а там всегда была очень плохая связь.

## XXI

Я держу лист бумаги и диктую:

— Пожар — три минуты пятнадцать секунд...  
Ночная улица — четыре минуты ровно... Дождь  
за окном — две минуты тридцать секунд...

Отец не любил писать музыку к кинокартинам, но — увы! — принужден был заниматься этим в течение всей своей жизни: таков был наиболее приемлемый и пристойный вид заработка. Фильм приносил денег во много раз больше, нежели любое симфоническое произведение. Да к тому же бывали времена, когда исполнять произведения Шостаковича со сцены запрещалось.

В один из таких периодов отец писал И.Гликману:

«Я за последний год написал много музыки к кинофильмам. Это дает мне возможность жить, но и утомляет до чрезвычайности».

Принимая очередной заказ на музыку к кинокартине, отец получал нечто вроде рабочего плана. Там перечислялись эпизоды фильма и их продолжительность. Так вот, в тот раз он уехал в Болшево, а листок с планом оставил в Москве. Пришлось ему звонить домой, я нашла на его столе бумажку и диктовала:

— Так, записал? Троллейбус на московской улице — шесть минут... Белое безмолвие — три минуты...

Это «белое безмолвие» в особенности забавляло отца. Он говорил:

— Как прикажете передать в музыке такую штуку, как «белое безмолвие»?

М. АРДОВ:

Я могу утверждать, что Дмитрий Дмитриевич с юности приобрел нечто вроде отвращения к самому искусству кинематографа. После смерти отца ему пришлось кормить семью — мать и двух сестер, а потому он был принужден устроиться, т.н. «тапером» — сопровождать игрою на фортепиано тогдашние немые фильмы. Теперь опубликовано письмо Шостаковича к его учителю — профессору Л.В. Николаеву (01.11.1925):

*«Дорогой Леонид Владимирович!*

Жажду увидеться с Вами на днях. Когда бы Вы могли меня принять для различных переговоров насчет моих занятий? Я бы очень многое хотел бы Вам сказать по поводу моего лодырничанья. Уверяю Вас, что я не гоняю лодыря, а дело обстоит хуже. Меня очень подкузьмил кинематограф. Благодаря моей некоторой впечатлительности, я, когда прихожу домой, то в ушах у меня звучит киномузыка, в глазах стоят ненавистные мне герои. Из-за этого я долго не могу заснуть. Засыпаю не раньше, как в 4—5 часов. Поэтому утром я встаю очень поздно с больной головой и со скверным настроением. Ползут в голову всякие гнусные мысли вроде того, что я продал-

ся за 134 руб. Севзапкино и что я стал кинопианистом. А потом надо бежать в консерваторию. А потом прихожу домой, обедаю и айда в “Сплендид Пэлас”»

И, наконец, еще одно важное свидетельство. Это — из воспоминаний дирижера Кирилла Кондрашина:

«Когда был трудный период, после 1948 года, и нечего было делать, он встретил своих коллег, которые спросили:

— Дмитрий Дмитриевич, что Вы пишете?

— Я сейчас для фильма пишу музыку. Неприятно, что приходится это делать. Я вам это советую делать только в случае крайней нищеты, крайней нищеты.

Он часто подчеркивал ключевые слова.»

ГАЛИНА:

Отец входит в комнату Максима:

— У тебя должны быть сигареты.

— Какие сигареты? — растерянно говорит мой брат.

— Я знаю, у тебя есть сигареты. Ты куришь.

— С чего ты взял?..

— Дай мне закурить, — произносит отец.

Он курил в течение всей жизни, любил папиросы «Казбек», но иногда забывал покупать их в достаточном количестве. Хотя в некоторых случаях он был вполне предусмотрительным. Например, когда он ехал в Америку в

## XXI

1949 году, то половина чемодана была занята пачками «Казбека».

Когда Максим вырос, он тоже пристрастился к табаку. Было это то ли в последнем классе школы, то ли уже в консерватории. При отце он курить еще стеснялся, а тот со своей стороны делал вид, что об этом не догадывается.

В тот день у отца кончились папиросы, и он отправился в комнату к сыну. Максиму пришлось сознаться и угостить отца сигаретами.

Хотя курил наш отец довольно много, но терпеть не мог переполненных пепельниц: если видел там хотя бы два окурка, немедленно выбрасывал их.



## XXII

ГАЛИНА:

Отец нервно расхаживает по комнате.

— Тебя зашлют неизвестно куда! — говорит он мне. — В Тмутаракань, на Дальний Восток. Если бы ты была певица, я бы тебя тут же куда-нибудь устроил. Зачем тебя вообще понесло на биологический факультет?!

Разговор происходил весной 1959 года.

Я заканчивала университет, и мне предстояло так называемое распределение. Всем, у кого не было возможности устроиться на работу в Москве и при том принести на факультет соответствующую бумажку, надлежало отправиться в глухую провинцию и стать учителем биологии в какой-нибудь отдаленной средней школе.

Отец не был готов к такому повороту событий, да и я, честно сказать, уезжать из дома не

стремилась. Мы принялись вспоминать, кто из наших родственников и знакомых занимается чем-нибудь близким к биологии или медицине.

Долго раздумывать не пришлось: муж моей тетки, родной сестры отца, Григорий Константинович Хрущев, был заведующим кафедрой гистологии во Втором медицинском институте. У них в это самое время как раз открывалась Центральная научно-исследовательская лаборатория, куда я и поступила на работу.

ГАЛИНА:

Шостакович решительным шагом входит в дом и сразу направляется в ванную комнату. Пробует кран — вода льется в раковину. Он заглядывает в уборную, дергает за цепочку — вода шумит в унитазе. После чего отец объявляет:

— Я эту дачу покупаю!

Он не стал осматривать остальные помещения, подниматься на второй этаж, не посмотрел, какова крыша, что с подвалом.

Его интересовало лишь одно — водоснабжение!

Так был в 1960 году приобретен дом в Жуковке, где ему предстояло прожить многие годы.

В более ранние времена существовала дача в Болшеве, которую Шостаковичу предостави-

ли по личному распоряжению Сталина. Это был неказистый деревянный дом, но отец к нему привык — он мог там уединиться. В Болшеве его угнетало одно — проблемы с водой. Питьевую вообще привозили откуда-то изда- лека, возле дома рыли колодцы, но все как-то неудачно. А отец был чистюлей, то и дело мыл руки.

У него с водой были особенные отношения.

И вот ему предложили купить дачу в Жуковке, в поселке Академии наук СССР. Тут надобно воздать должное щепетильности отца. Вместо того чтобы продать подаренную Сталиным дачу в Болшеве, он вернул ее государству. При том, что за новый дом надо было выложить весьма значительную сумму.

В советские времена те из композиторов, чьи произведения исполнялись за рубежом, имели счета в иностранной валюте, на которые переводились малые проценты с отбираемых у авторов заграничных гонораров. Если «валютный» композитор выезжал из страны, ему позволялось снять со своего счета немного денег. Но делалось это неохотно и лишь с разрешения высокого начальства.

Такой счет был и у Шостаковича. Так вот, чтобы вовремя заплатить за купленную в Жуковке дачу, отец был принужден перевести в рубли всю свою валюту. Государство при этом наживалось, поскольку обмен осуществлялся

по грабительскому официальному курсу. Финансовая операция имела неожиданное последствие. Отцу позвонил Хачатурян и сказал:

— Что ж ты делаешь?! В какое положение ты нас всех поставил?! Нам говорят: Шостакович — патриот, он всю свою валюту перевел в рубли. Теперь мы все должны последовать твоему примеру. Ну, если тебе понадобились советские деньги, занял бы у меня. Да тебе бы любой из нас одолжил!..

Современный читатель может усомниться в реальности этой истории. Но отец всю сознательную жизнь прожил при советской власти и принужден был терпеть унижения едва ли не на каждом шагу. Уже незадолго до смерти, в 70-х годах, перед очередной триумфальной поездкой за границу, он сделал попытку снять со своего валютного счета значительную сумму денег — ему захотелось купить иностранный автомобиль, кажется, «Мерседес». Начальство этого ему не позволило: «У нас, в Советском Союзе, изготавливают вполне качественные машины — «Волги»!..»

ГАЛИНА:

— Давайте сюда таз... Не такой, побольше, — командует Галина Павловна Вишневская. — Горячей воды надо целое ведро...

Так происходило первое купание моего старшего сына Андрея, это было летом 1960 года.

Из родильного дома нас привезли прямо на дачу в Жуковку. В нашей семье ни у кого не было навыков обращения с новорожденными. Мама уже давно умерла, домработница Феня была старой девой.

Я кормила ребенка, пеленала. А отец то и дело интересовался: когда внука будем купать?..

Честно говоря, я этого немного побаивалась, и тогда отец отправился к Ростроповичам и привел Галину Павловну — даму решительную и к тому же мать двух дочерей.

ГАЛИНА:

Я поднимаю телефонную трубку и слышу мужской голос:

— Здравствуйте. С вами говорят из газеты «Советская культура». Могу я попросить к телефону Дмитрия Дмитриевича?

— Его сейчас нет в Москве, — отвечаю я.

— А когда он вернется?

— К сожалению, мы этого еще не знаем.

Подобные разговоры происходили более или менее регулярно. Над телефонным аппаратом висел написанный рукою отца список, начинавшийся с пункта: «Все газеты и журналы».

Далее там значились еще некоторые учреждения, а затем уже и конкретные личности. Смысл этого перечисления был известен

лишь домочадцам: нам категорически запрещалось звать отца к телефону, если звонили упомянутые в списке люди или представители помещенных там организаций.

К журналистам Шостакович испытывал особую неприязнь. Он считал их, и не без основания, людьми невоспитанными, необразованными, способными задавать бестактные вопросы.

**МАКСИМ:**

Некоторые журналисты до сих пор таят обиду на Шостаковича: они полагают, что отец не любил их без видимых причин. Эти люди не дают себе труда понять, в каком положении Шостакович прожил свою жизнь. Он и вся его семья, по существу говоря, были заложниками у преступного и беспощадного режима. И каждое свое слово наш отец был вынужден произносить с оглядкой на всевластных мучителей.

**ГАЛИНА:**

Я вспоминаю сетования отца:

— Если б у меня было право распорядиться хотя бы двумя квартирами в год... А так — чем я могу помочь нуждающимся людям?

В течение многих лет Шостакович был депутатом Верховного Совета Российской Федерации и неукоснительно выполнял все

связанные с этим обязанности: присутствовал на заседаниях, специально ездил в Ленинград, чтобы вести прием избирателей... Но никакой реальной власти у тогдашних депутатов не было и быть не могло. Посему отец, человек в высочайшей степени ответственный и сострадающий чужому горю, тяготился своей депутатской должностью. Дела, по которым к нему обращались, были двух родов — жилищные или связанные с репрессиями. В этих случаях отец особенно стремился помогать людям.

Еще в девятнадцатилетнем возрасте Шостакович сделал важное признание, оно содержится в письме к музыковеду, профессору Болеславу Лепольдовичу Яворскому (03.11.1925):

«Для меня в жизни самое трудное — это просить за себя самого.»

Таким он был в юности и таким остался на всю жизнь. Это подтверждает его соученик и друг — кинорежиссер Лео Оскарович Арнштам.

**Лео АРНШТАМ:**

1919 год. Второй год великой революции — холодный, голодный, тифозный... Мне было немного больше четырнадцати лет, я стоял в очереди за тарелкой щей. Пустых щей из кислой капусты. Это было благодеяние петроградской коммуны, которая из своих слабых

ресурсов кое-что уделяла и нам, будущим музыкантам и нашим педагогам. И вот впереди меня стоял подросток — обманчиво хрупкий. Он все время вертелся, и я его сразу узнал, потому что о нем уже говорили: у него необыкновенный слух и память... Это был стойкий человек, стойкий солдатик. Когда мне было лет 15, а ему соответственно 14, мы пошли с ним в Летний сад. Он говорит: «Знаешь что? Дадим друг другу клятву.» «Какую?» «Что мы никогда не будем обижаться.» «Почему?» «Обижаются ведь только дураки. А я думаю, что и ты, и я — умные.» И знаете, он сдержал клятву.

**Михаил АРДОВ:**

В конце 1963 года преследованию властей стал подвергаться Иосиф Бродский. В числе тех, кто особенно горячо сочувствовал опальному поэту, была Ахматова, и она решила обратиться за помощью к Шостаковичу. С этой целью Дмитрия Дмитриевича пригласили в квартиру моих родителей, на Ордынку, в которой Ахматова обычно жила, приезжая в Москву.

Утром Анна Андреевна сказала за завтраком:

— Все это хорошо, но я не знаю, о чем надо говорить с Шостаковичем...

А Максим рассказал нам, что, собираясь на Ордынку, Дмитрий Дмитриевич говорил:



«Все это хорошо, но о чем же я буду говорить с Ахматовой?..»

Тем не менее оба остались довольны друг другом, общие темы у них нашлись. Я помню, что Шостакович взялся Бродскому помочь и говорил о его судьбе с главным тогдашним ленинградским начальником В.С. Толстиковым. Но — увы! — пользы это не принесло. Иосифа арестовали и репрессировали.

Кстати сказать, Анна Андреевна была горячей поклонницей Шостаковича, и тому есть письменное свидетельство.

22 декабря 1958 года она сделала такую надпись на книге своих стихов:

«Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу, в чью эпоху я живу на земле».

Анна АХМАТОВА:

*Д.Д.Ш.*

*В ней что-то чудотворное горит,  
И на глазах ее края гранятся.  
Она одна со мною говорит,  
Когда другие подойти боятся.  
Когда последний друг отвел глаза,  
Она была со мной в моей могиле  
И пела, словно первая гроза  
Иль будто все цветы заговорили.*

# XXIII

МАКСИМ:

— Дмитрий Дмитриевич, ведь вам достаточно только снять трубочку, — произносит гостья заискивающим голосом.

Шостакович смотрит на нее страдальчески.

Отец терпеть не мог этой фразы про трубочку, а слышать ее приходилось ему регулярно. Очень многие просители ошибочно полагали, что при своей популярности Шостакович — всесильный. Достаточно ему попросить о чем-нибудь высокое начальство, и любое дело разрешится.

Дама, о которой я сейчас вспомнил, была вдовой композитора В., крайне озабоченной «увековечением» памяти мужа. По ее мнению, одного телефонного звонка Шостаковича было достаточно, чтобы музыка В. стала испол-

## XXIII

няться в концертах и звучать по радио. Отец наш и трубочку много раз снимал, и письма подписывал, но вдове всего этого было мало.

В каком-то очередном разговоре мадам В. посоветовала:

— Муж умер, и никого у меня не осталось...

Тут Шостакович возьми да и скажи:

— Да, да... А вот у Иоганна Себастьяна Баха было два десятка детей. И все они продвигали его музыку.

— Вот-вот, — подхватила вдова. — До сих пор исполняют! А я-то одна, совсем одна!..

Помню, как после очередного разговора с этой назойливой дамой, отец обратился к нам, домашним:

— Пожалуйста, когда я умру, не занимайтесь моим бессмертием. Не хлопчите, чтоб играли мою музыку.

**ГАЛИНА:**

Но при этом он всю жизнь пропагандировал музыку своих учеников и коллег. В журналах и в архивах можно прочесть десятки его писем с хвалебными отзывами о сочинениях Прокофьева, Хачатуряна, Свиридова, Кареева, Вайнберга, Уствольской, Тищенко, Денисова и других. И все это писалось совершенно искренне — Шостакович, несмотря на свою деликатность и воспитанность, в мнениях о музыке никогда не кривил душой.

## XXIII

Борис ХАЙКИН:

С.С. Прокофьев рассказывал в 1948 году. После премьеры балета «Золушка» в одной из центральных газет появилась рецензия, написанная Шостаковичем. Прокофьев звонит Шостаковичу и благодарит за теплый отзыв. Шостакович отвечает: «Сергей Сергеевич, вы напрасно благодарите. Я не только хвалил. Я кое о чем отозвался неодобрительно, но редакция почему-то не поместила...»

МАКСИМ:

Отец высоко ценил талант своего приятеля Матвея Блантера, Моти, как его называли все друзья. Кстати сказать, по этой причине я однажды пострадал. У нас в школе надо было писать так называемое изложение. И там был персонаж, которого звали Матвеем. Так вот я всюду писал «Мотвей». Учительница спрашивает: «Почему ты пишешь «Мотвей», а не «Матвей»?» И я ей говорю: «У моего отца есть друг Блантер, и его все зовут Мотя...»

Принципиальность отца распространялась не только на коллег: ведь ему присылали свои сочинения самые разные люди, желающие стать композиторами. И он всем отвечал в доброжелательном тоне. Однако же, никогда не вселял необоснованных надежд. Присылает ему песню собственного сочинения какой-то человек, который работает на подъемном кра-

## XXIII

не. Шостакович пишет: «У вас такая прекрасная профессия: вы строите жилье, а это так нужно людям. Мой вам совет: продолжайте свою полезную деятельность». Ну и прочее в таком роде...

Дмитрий ШОСТАКОВИЧ (*Письмо Эдисону Денисову*):

«Я очень рад, что Вас волнуют всякого рода вопросы искусства, которое столь мне дорого и без которого я, вероятно, не смог бы прожить и дня... Настоящий художник любит свое творчество... Будет большой грех, если Вы зароете Ваш талант в землю. Конечно, для того, чтобы стать композитором, Вам надо много учиться. И не только ремеслу, но и многому другому. Композитор — это не только тот, кто умеет недурно подбирать мелодию и аккомпанемент, кто может это недурно оркестровать, и т.п. Это, пожалуй, может сделать каждый музыкально грамотный человек. Композитор — это нечто значительно большее. И, пожалуй, что такое композитор, Вы сможете узнать, очень хорошо изучив то богатейшее музыкальное наследство, которое осталось нам от великих мастеров... Вы просите посоветовать насчет дальнейшего. Ваш несомненный талант заставляет меня настаивать на том, чтобы Вы стали композитором. Но если Вам остался лишь один год пребывания в уни-

## XXIII

верситете, то кончайте университет. Путь композитора тернист (извините за несколько пошлую фразу). На своей шее испытал и испытываю... Если Вы на это решитесь, то в будущем не проклиняйте меня. Повторяю: тернист путь композитора. Испытал и испытываю на собственной шее. А университет обязательно кончайте...».

**МАКСИМ:**

Шостакович отнюдь не по собственной воле занял пост руководителя Союза композиторов России. Но в этой должности он работал не за страх, а за совесть, использовал открывшиеся ему возможности, дабы помогать талантливым людям.

**Софья ХЕНТОВА:**

Поражала его объективность, беспристрастность. Будучи человеком обидчивым, как руководитель не позволял он себе опускаться до личных обид. Евгению Долматовскому довелось быть свидетелем того, как ученик Шостаковича, которого он «поднимал», «неблагодарно, некрасиво поступил, с чужого голоса и в угоду очередному поветрию выступив против Учителя. Шостакович был оскорблен до глубины души, но, выступая на пленуме, Шостакович не оправдывался... Отмечая успехи композиторов, он назвал в числе лучших и

## XXIII

своего обидчика. Тут уж я, — вспоминает Долматовский, — обиделся и при первой же встрече сказал ему, что напрасно он похвалил подлеца.

Дмитрий Дмитриевич остудил мое кипение:

— Он у меня ходил в лучших учениках, и я не имею права менять свое мнение о его таланте из-за его бестактности. Меня за то и выбрали руководителем композиторской организации РСФСР, что я не умею сводить счета.

И перевел разговор в шуточный план:

— Ну и, разумеется, за то, что и руководить я тоже не умею».

Борис ТИЩЕНКО (*композитор*):

Шостакович рассказывал, как один из его знакомых писал музыку за другого, который «умел продать», а потом «делился»:

— В уборной, понимаете ли, передавал деньги из кармана в карман, а тот ему ноты, чтобы никто не видел. Я говорю: «Кто этот негодяй? Я его исключу из Союза!» — а он мне отказался назвать его имя: «Все-таки он дает мне заработать...»

Михаил АРДОВ:

Шостакович не просто «не умел сводить счета», ему в высочайшей степени было свой-

## XXIII

ственно то, что некоторые называют этической одаренностью. Вот поразительное тому свидетельство.

Кирилл КОНДРАШИН:

Это было в 1966 году, когда я был председателем жюри Второго конкурса дирижеров. Для меня, как председателя, он был первым, через 32 года после предыдущего конкурса.

Там участвовал сын Шостаковича, Максим. Но были сильные конкуренты, из числа тех, кто стал лауреатами. Это своим порядком, но кроме них там были еще интересные люди.

Три тура. На второй тур Максим прошел довольно легко. Но когда возник вопрос о третьем туре, где только шесть участников и шесть призеров, для меня стало ясно, что Максим далеко не из лучших и что он еще не тянет на шестерку. Это стоило мне многих бессонных ночей, и я для себя должен был решить, как себя вести. Будь я просто членом жюри, я бы проголосовал, как нашел бы нужным, или воздержался бы в высказывании. Но как председатель, я был обязан свое мнение высказать. Я высказывался о каждом. Я все время советовался со своими друзьями (Рабиновичем, Грикуровым, Раисой Глезер). Они со мной соглашались. И наше мнение было таким: Максим с его фамилией все равно сделает карьеру. Здесь ему лауреатство не нужно. Но он



## XXIII

отнимет место у кого-то более достойного на сегодняшний день. Он слабее многих других.

Я все-таки решился на разговор с членами жюри. Разговаривал с Кара Караевым. Вот что он сказал:

— Кирилл Петрович, Вы абсолютно правы. Но я боготворю Дмитрия Дмитриевича. Знаю, как он болезненно относится к Максиму, и я не могу на него поднять руку и поэтому не поддержу Вас.

На заключительном заседании жюри решался вопрос лауреатства. По-моему, была 25-бальная система. Чтобы пройти на третий тур, нужно было набрать не менее 20 баллов. Я выступил и сказал то, что думал. Меня кто-то поддержал. Но Кара Караев возражал, а с ним и другие члены жюри. В общем, Максим по баллам прошел на третий тур чуть ли не последним.

На следующий день я с утра пошел к Дмитрию Дмитриевичу, потому что знал, что ему сейчас же передадут все в искаженном виде.

— Дмитрий Дмитриевич, я хочу поговорить с Вами, разрешите? По поводу Максима.

Он меня встретил, может быть, он знал, а может нет, но держался абсолютно корректно.

— Я выступал так-то и так-то и хочу Вам первым об этом сказать.

Дмитрий Дмитриевич нервничал. Чувствовалось, что этот разговор ему неприятен:

## XXIII

— Кирилл Петрович, я Вам очень благодарен, что Вы пришли и в лицо мне все сказали. Я очень ценю это, но я с Вами не согласен. Может быть, только Мансуров сильнее Максима. Из всех тех, кто там участвовал, он гораздо сильнее. Но во всяком случае, я Вас очень прошу помочь Максиму советом, консультацией, как старший, как друг.

— Конечно, Дмитрий Дмитриевич.

Я был удручен, видя, как ему больно и подумал, что теперь все: приглашения, звонки раз в месяц, как было... Звонил он обычно раз в три недели:

— Кирилл Петрович. Как Вы живете?

— У меня все хорошо.

— У меня тоже все хорошо. Спасибо. До свидания.

Это он одаривал такими звонками внимания, но не очень многих. Это мог только Дмитрий Дмитриевич. А после нашего разговора он стал звонить мне через день. И так продолжалось примерно месяц — не хотел, чтобы я подумал, что он обиделся. Вот такой великой души был человек. Великий человек. Он оценил то, что я имел свое мнение и что я пришел.

Михаил АРДОВ:

Я хочу привести еще один фрагмент из воспоминаний Кондрашина. Речь идет о Четыр-

## XXIII

надцатой симфонии Шостаковича, которая впервые была исполнена в 1969 году.

Кирилл КОНДРАШИН:

Симфонию начал разучивать Баршай. Пели Мирошникова и Владимиров. В июне состоялась публичная генеральная репетиция. Репетировали в Малом зале консерватории. Конечно, зал был забит народом, все уже об этом знали. Пришли друзья Дмитрия Дмитриевича. Студенчество вездесущее поналезло — премьера. Из начальства никого не было, я видел только Апостолова — одного из авторов печального постановления 1948 года. Их было трое: Ярустовский, Апостолов и Вартанян. Апостолов самый старший, он был уже на пенсии, но еще работал секретарем парторганизации Союза композиторов.

Дмитрий Дмитриевич перед началом репетиции выступил и сказал прочувствованное слово о том, что написал симфонию о смерти не только потому, что он с каждым годом чувствует ее приближение; что его близкие и друзья уходят, снаряды рвутся все ближе и ближе. Но и потому, что он считает — со смертью нужно полемизировать. <...>

И во время выступления Шостаковича я услышал сзади какое-то шевеление. Я записывал на магнитофон выступление и не знал, что произошло.

## XXIII

Потом симфония была исполнена. И когда я выходил, то увидел, что стоит карета «скорой помощи» и кого-то со шляпой на лице выносят. А когда накрывают лицо шляпой, то несут уже тело. Потом я узнал, что это был Апостолов. Он почувствовал себя плохо во время выступления Дмитрия Дмитриевича. Сердце не выдержало. Он с трудом вышел из зала, упал и скончался.

Я в этом вижу акт великого возмездия. Десять лет жизни Дмитрия Дмитриевича на совести этого Апостолова и его компании негодяев. Мало того, что он сочинял эти постановления, он и следил, чтобы ни одно из указанных там произведений не исполнялось вообще.

## XXIV

ГАЛИНА:

Отец берет в руки колоду карт и начинает их раздавать.

— Так, — произносит он, — сейчас не брать червей.

Это происходит в Жуковке, мы играем в «кинга». За столом, кроме нас с отцом, наши соседи — академик Николай Антонович Доллежалъ и его жена Александра Григорьевна.

Карты в жизни Шостаковича присутствовали всегда.

В «кинга» играли еще при жизни мамы. Кроме того, отец очень любил раскладывать пасьянсы, это действовало на него успокаивающе.

Надо сказать, играли у нас всегда на деньги, шлепанья картами без выигрышей и проигры-

шей отец не признавал. Разумеется, когда проигрывала я, он за меня расплачивался.

За годы жизни в Жуковке мы сблизились с Доллежалями, вместе несколько раз встречали Новый год. Начиналось это на нашей даче, тут подавалась закуска и горячее. Потом шли через дорогу к Доллежалям, где угощались десертом и мороженым. А если во встрече Нового года участвовали Ростропович и Вишневецкая, отправлялись к ним, и там ели фрукты...

#### МАКСИМ:

В академическом поселке, где стоит наша дача, жили, главным образом, академики-ядерщики. Если мне не изменяет память, поселок этот был построен по приказу Берии, который во времена сталинские был ответственным за производство ядерного оружия. И Сахаров имел в Жуковке дачу, и другие ученые, которые трудились в этой области. Я вспоминаю, как отец прогуливается по академическому поселку с каким-нибудь гостем и объясняет ему:

— Здесь живет такой-то академик. А здесь такой-то. А вот тут — совершенно гениальный человек! Он изобрел такое вещество, чайная ложка которого, будучи распыленной по земному шару, убьет решительно все живое на нашей планете! Гениальный человек! Просто

## XXIV

гениальный! Теперь осталась только одна проблема: как бы равномерно распылить это по всей земле...

Михаил АРДОВ:

Один из живущих неподалеку от Шостаковича академиков — Яков Борисович Зельдович, как-то преподнес Дмитрию Дмитриевичу свою книгу, каковая почти сплошь состояла из математических формул. Раскрыв ее, композитор пришел в недоумение и произнес:

— А мне что теперь прикажете делать? Подарить ему свою партитуру?..

И еще об одном соседстве стоит упомянуть. В Жуковке была дача у Светланы Иосифовны Аллилуевой — дочери Сталина. Вот что в свое время рассказывал мой приятель Евгений Борисович Чуковский — муж Гали Шостакович, он видел, как по одной из улиц поселка бежала дворничиха и громко кричала:

— Сталиных обокрали!.. Сталиных обокрали!..

Полагаю, из всех соседей только Женя с его обостренным чувством языка понимал несообразность этого крика. В нашей стране эта фамилия не могла, да и не может звучать во множественном числе: «товарищ Сталин» на все времена — один, единственный, неповторимый...

МАКСИМ:

Однажды отец зашел в парикмахерскую побриться, а я ждал его в соседнем помещении. Там было включено радио — какая-то исполнительница распевала романс Алябьева «Соловей».

Когда бритье окончилось, и мы вышли на улицу, отец поморщился и произнес:

— До чего ж это отвратительная, антимузикальная вещь — колоратура...

Я запомнил эти его слова, но убежден, что подобному высказыванию нельзя придавать абсолютного значения. Вполне возможно, что при других обстоятельствах и при другом настроении Шостакович слушал бы это пение не без удовольствия.

О себе он говорил:

— Я люблю всю хорошую музыку — от Баха до Оффенбаха.

К некоторым знаменитым композиторам у него было сложное отношение. У Чайковского, например, что-то ему активно не нравилось, а какие-то произведения он очень любил. Стойкое неприятие Шостакович испытывал лишь к музыке Скрябина, я помню его беспощадный отзыв об этом композиторе:

— Смесь теософии с парфюмерией.

Из русских классиков он в особенности ценил Мусоргского и потратил очень много сил, дабы его музыка дошла до слушателей в наибо-



лее близком к авторскому замыслу виде. Шостакович заново оркестровал «Бориса Годунова», «Хованщину», «Песни и пляски смерти». У него вообще была склонность доводить до совершенства чужие произведения, которые он считал талантливыми.

**Дмитрий ШОСТАКОВИЧ** (*письмо к ученику, Борису Тищенко*):

«С трепетом посылаю Вам партитуру.

Поверьте, что я инструментовал Ваш концерт с полным уважением и большим восхищением к клавиру. Более подробные объяснения я буду давать Вам при встрече. Я не злоупотреблял духовым звучанием и начисто изъясил из партитуры медь. Таким образом, я разрешил для себя две задачи: 1) звучность не будет надоедать, и 2) сольная виолончель везде будет слышна... Больше я не вносил своей капитальной отсебятины».

**Борис ТИЩЕНКО:**

Случилось великое счастье в нашей общей жизни, в жизни нас всех, учеников Дмитрия Дмитриевича. Он дал согласие преподавать аспирантам Ленинградской консерватории. Эта идея принадлежала тогдашнему ректору консерватории — Павлу Алексеевичу Серебрякову. Это было в 1962 году, когда праздновалось столетие Петербургской консерватории, и он

решил отпраздновать этот юбилей, пригласив величайших музыкантов на преподавательские должности. И вот в расписании появилось объявление: профессор Шостакович, занятие в таком-то классе в такие-то часы. Дмитрий Дмитриевич сразу сказал, когда начал с нами заниматься: «Вы люди уже взрослые. Вы не студенты — аспиранты, поэтому никаким прописным истинам я вас учить не буду.» И там действительно разговоры касались каких-то очень важных вещей. Своему ученику, который писал кантату на тему об освоении целины... Там едет молодежь, и под стук колес поет: «Ма-ма, ма-ма, ма-ма...» Так вот Шостакович сказал автору: «Разве можно в таком темпе произносить слово «мама»? Это же такое слово...»

Борис ХАЙКИН:

Мы ставили «Цыганского барона». В третьем акте режиссер А.Н.Феона решил добавить балетный номер — польку (танец газетчика), которую должна была исполнять очень талантливая актриса-травести Г.И. Исаева. Иду в библиотеку Ленинградской филармонии, прошу какую-нибудь польку И.Штрауса. Библиотекарь отвечает: «У нас их штук двести, выберите по своему вкусу, какая вам понравится». Оставляя в стороне наиболее популярные и всем известные, нахожу очень симпатичную

польку, библиотека снимает копию, и вскоре вырисовывается очень хороший танец в постановке Б.А. Фенстера.

Пришла пора пройти польку с оркестром. Снова в филармонию, на этот раз за оркестровым материалом. Выясняется, что к этой польке оркестровых голосов нет. Есть клавир — две странички с обязательным *Da capo*, и больше ничего. Что делать? Звоню Шостаковичу, рассказываю, какая у меня беда, и он моментально приезжает. Показываю ему польку, между прочим, обращаю его внимание на большой септаккорд, который я счел опечаткой (издание было сомнительное). Он ничего не сказал, забрал клавир, бросив на прощание: «Завтра я у вас буду»... Назавтра он приехал с партитурой. Я взглянул — и увидел с о ч и н е н и е Ш о с т а к о в и ч а. Он ничего не изменил у Штрауса, ни одной ноты. Большой септаккорд остался на своем месте, он не согласился с тем, что это опечатка, а мне вскоре этот аккорд не только перестал казаться неуместным, но украшающим польку и придающим ей особенную прелесть. А оркестровое письмо Шостаковича, как всегда, было настолько колоритно, что рядом с ним блестящий Иоганн Штраус потускнел. <...> Любопытная подробность: полька имела в спектакле наибольший успех и обязательно бисировалась (как забавно, когда в спектакле наибольшим успехом пользуется тот

номер, который автором вообще не был предусмотрен). Однажды балетмейстер Б.А. Фенстер сказал: «Давайте на bis будем танцевать другую польку — покороче, и я поставлю другой танец, как бы продолжение первого!» Прошу в библиотеке филармонии еще одну польку. Из такого их множества выбрать нетрудно. На этот раз я заранее убеждаюсь, что есть и оркестровые голоса. Фенстер ставит новый танец, Исаева так же великолепно танцует. Но этот bis у нас прошел раза два, не больше. Выяснилось, что соседство с Шостаковичем неблагоприятно даже для прекрасного, чарующего слух Иоганна Штрауса. Публика принимала bis с разочарованием, хотя и постановщик, и исполнительница были безупречны. Пришлось бисировать первую польку, которая вызывала одинаковые взрывы восторга и после первого, и после второго исполнения...

Михаил АРДОВ:

В 60-х годах кто-то рассказал мне такую историю. На некий московский фестиваль прибыл из Индии богатый и знаменитый в своей стране композитор. Сочинял он, главным образом, музыку к кинофильмам. Его познакомили с Шостаковичем. Индус, между прочим, сказал:

— Вы, наверное, платите много денег вашему помощнику?

## XXIV

— Какому помощнику? — удивился Дмитрий Дмитриевич.

— Ну, тому, кто записывает ваши мелодии.

— Я сам записываю свою музыку, — сказал Шостакович.

— Как? — поразился индийский гость. — Вы даже ноты знаете?!

ГАЛИНА:

Это было в Жуковке, летом 1960 года. Отец спустился со второго этажа, присел на стул и объявил:

— Я только что закончил произведение, которое посвятил своей памяти.

Он посидел, покурил и опять ушел наверх, к себе в кабинет. В тот день был завершен знаменитый Восьмой квартет. В свое время он был сыгран, имел огромный успех, и тут же начался очередной нажим на автора с тем, чтобы он изменил посвящение. Отец принужден был уступить, иopus получил новое надписание: «Памяти жертв фашизма». С таким фальшивым посвящением квартет исполняется до сего дня, и это лишнее свидетельство того, насколько коллеги-музыканты равнодушны к судьбе Шостаковича.

МАКСИМ:

Разумеется, в 1960 году посвящение «Памяти жертв фашизма» воспринималось как сомнительное. Но, если понимать слово «фашизм» как синоним «тоталитаризма», двусмысленность исчезает. Шостакович был одной из жертв чудовищного тоталитарного режима.

ГАЛИНА:

Нет, с этим я не согласна. У меня до сих пор в ушах звучит: «Посвятил своей памяти»... Такое не часто услышишь, а уж тем паче от столь сдержанного человека, каким был наш отец. Я убеждена: необходимо восстановить подлинное посвящение.

МАКСИМ:

Человек, в те времена не живший, может подумать: какая же Шостакович — жертва? Депутат Верховного Совета, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат всех возможных премий, и проч., и проч. ... Если смотреть с такой точки зрения, то и Александр Сергеевич Пушкин никак не может считаться притесняемым: был обласкан царем, сочинял верноподданнические стихи. Однако же все считают, что великий поэт пострадал от монархии. Увы! Шостаковичу довелось жить не в России времен Николая I, а в

сталинском Советском Союзе. Бывали такие периоды, когда наш отец чувствовал себя на волосок от гибели. И до самой смерти своей был напрямую зависим от безграмотных, наглых и жестоких чиновников, которые то и дело подвергали его прямому шантажу.

Я никогда не забуду, как летом 1960 года отец позвал нас с Галей в свой кабинет и сказал:

— Меня загнали в партию...

И тут он заплакал.

Я два раза в жизни видел его плачущим — когда умерла наша мама и в тот злополучный день.

Дмитрий ШОСТАКОВИЧ (*письмо И.Д. Гликману от 19 июля 1960 г.*):

«Я вернулся из поездки в Дрезден. Смотрел материалы кинофильма «Пять дней, пять ночей», создаваемого Л.Арнштамом. Меня там очень хорошо устроили для создания творческой обстановки. Жил я в городе Горлице, также на курорте Горлиц, что под городом Кенинштейном, в 40 километрах от Дрездена. Место неслыханной красоты. Впрочем, ему и полагается быть таковым: это место называется Саксонская Швейцария. Творческие условия оправдали себя: я сочинил там 8-й квартет. Как я ни пытался выполнить вчерне задания по кинофильму, пока не смог. А вместо этого



написал никому не нужный и идейно порочный квартет.

Я размышлял о том, что если я когда-нибудь помру, то вряд ли кто напишет произведение, посвященное моей памяти. Поэтому я сам решил написать таковое. Можно было бы на обложке так и написать: «Посвящается памяти автора этого квартета». Основная тема квартета ноты: D. Es. C. H., то есть мои инициалы. В квартете использованы темы моих сочинений и революционная песня «Замучен тяжелой неволей». Мои темы следующие: из 1-й симфонии, из 8-й симфонии, из Трио, из виолончельного концерта и из «Леди Макбет». Намеками использованы Вагнер (траурный марш из «Гибели богов») и Чайковский (2-я тема 1-й части 6-й симфонии). Да: забыл еще мою 10-ю симфонию... Ничего себе окрошка! Псевдотрагедийность квартета такова, что я, сочиняя его, вылил столько слез, сколько выливается мочи после полдюжины пива. Приехавши домой, раза два попытался его сыграть, и опять лил слезы. Но тут уже не только по поводу его псевдотрагедийности, но и по поводу удивления прекрасной цельностью формы. Но, впрочем, тут, возможно, играет роль некоторое самовосхищение, которое, возможно, скоро пройдет, и наступит похмелье критического отношения к самому себе.

Сейчас я отдал квартет переписать и надеюсь начать его разучивать с теми же бетховенцами.

Вот и все, что произошло со мной в Саксонской Швейцарии».

Исаак ГЛИКМАН:

Вот что предшествовало сочинению Восьмого квартета.

В 20-х числах июня 1960 года Дмитрий Дмитриевич приехал в Ленинград и поселился не в «Европейской» гостинице, как он обычно делал, а в квартире сестры Марии Дмитриевны. Как выяснилось позже, этот поступок был совершен неспроста.

28 июня я нанес Дмитрию Дмитриевичу короткий визит. Он сообщил мне, что им недавно написаны «Пять сатир на стихи Саши Черного» и что он надеется познакомить меня с этим опусом. На завтра — 29 июня рано утром — Дмитрий Дмитриевич позвонил мне и попросил немедленно прийти к нему. Когда я мельком взглянул на него, меня поразило страдальческое выражение его лица, растерянность и смятение. Дмитрий Дмитриевич поспешно повел меня в маленькую комнату, где он ночевал, бессильно опустился на кровать и принялся плакать, плакать громко, в голос. Я со страхом подумал, что с ним или с его близкими произошло большое несчастье. На

мои вопросы он сквозь слезы невнятно произносил: «Они давно преследуют меня, они гонятся за мной...» В таком состоянии я никогда не видел Дмитрия Дмитриевича. Он был в тяжелой истерике. Я подал ему стакан холодной воды, он пил ее, стуча зубами, и постепенно успокаивался. Примерно час спустя Дмитрий Дмитриевич, взяв себя в руки, начал мне рассказывать о том, что с ним случилось некоторое время тому назад в Москве. Там было решено по инициативе Хрущева сделать его председателем Союза композиторов РСФСР, а для того, чтобы занять этот пост, ему необходимо вступить в партию. Такую миссию взялся осуществить член бюро ЦК по РСФСР П.Н. Пospelов.

Вот что говорил мне (текстуально) Дмитрий Дмитриевич в июньское утро 1960 года, в разгар «оттепели»: «Пospelов всячески уговаривал меня вступить в партию, в которой при Никите Сергеевиче дышится легко и свободно. Пospelов восхищался Хрущевым, его молодостью, он так и сказал — молодостью, его грандиозными планами, и мне необходимо быть в партийных рядах, возглавляемых не Сталиным, а Никитой Сергеевичем. Совершенно оторопев, я, как мог, отказывался от такой чести. Я цеплялся за соломинку, говорил, что мне не удалось овладеть марксизмом, что надо подождать, пока я им овладею. Затем я

сослался на свою религиозность. Затем я говорил, что можно быть беспартийным председателем Союза композиторов, по примеру Константина Федина и Леонида Соболева, которые, будучи беспартийными, занимают руководящие посты в Союзе писателей. Пospelов отвергал все мои доводы и несколько раз называл имя Хрущева, который озабочен судьбой музыки, и я обязан на это откликнуться. Я был совершенно измотан этим разговором. При второй встрече с Пospelовым он снова прижимал меня к стенке. Нервы мои не выдержали, и я сдался...»

Рассказ Дмитрия Дмитриевича несколько раз прерывался моими взволнованными вопросами. Я напомнил ему, как он часто говорил мне, что никогда не вступит в партию, которая творит насилие. После больших пауз он продолжал: «В Союзе композиторов сразу узнали о результате переговоров с Пospelовым, и кто-то успел состряпать заявление, которое я должен, как попугай, произнести на собрании. Так знай: я твердо решил на собрание не являться. Я тайком приехал в Ленинград, поселился у сестры, чтобы скрыться от своих мучителей. Мне все кажется, что они одумаются, пожалеют меня и оставят в покое. А если это не произойдет, то я буду сидеть здесь взаперти. Но вчера вечером прибыли телеграммы с требованием моего приезда. Так

знай, что я не поеду. Меня могут привезти в Москву только силком, понимаешь, только силком!..»

Сказав эти слова, звучавшие, как клятва, Дмитрий Дмитриевич вдруг совершенно успокоился. Своим, как ему казалось, окончательным решением он как бы развязал тугой узел, стянувший его горло. Первый шаг был уже сделан: своей неявкой он сорвал готовившееся с большой помпой собрание. Обрадованный этим, я попрощался с Дмитрием Дмитриевичем и отправился в Зеленогорск, где снимала дачу моя матушка, и обещал на днях навестить отшельника. Однако он, не дождавшись меня, сам без предупреждения приехал 1 июля поздно вечером ко мне в Зеленогорск с бутылкой водки. Шел дождь. Дмитрий Дмитриевич выглядел измученным, вероятно, после бессонной ночи с ее душевными переживаниями.

Дмитрий Дмитриевич, едва переступив порог нашей хижины, сказал: «Извини, что так поздно. Но мне захотелось поскорее увидеть тебя и разделить с тобой мою тощицу». Я тогда не знал, что эту грызущую его «тощицу» он через несколько недель изольет в музыку Восьмого квартета и таким образом сумеет отвести душу.

Захмелев от выпитой водки, Дмитрий Дмитриевич заговорил не о фатальном собрании,

а могуществе судьбы и процитировал строку из пушкинских «Цыган»: «И всюду страсти роковые, / И от судеб защиты нет». Слушая его, я вдруг с грустью подумал, не склонен ли он покориться судьбе, сознавая невозможность сразиться с ней и победить ее. К сожалению, так и случилось. Собрание, походившее на трагифарс, было организовано вторично, и Дмитрий Дмитриевич, сгорая от стыда, зачитал сочиненное для него заявление о приеме в КПСС.

Творческое, художническое бесстрашие Шостаковича сочеталось в нем со страхом, взращенным сталинским террором. Многолетняя духовная неволя опутала его своими сетями, и не случайно в автобиографическом Восьмом квартете так надрывно, драматично звучит мелодия песни «Замучен тяжелой неволей»...

**Соломон ВОЛКОВ:**

Хачатурян не раз говорил мне, как он завидовал необыкновенной способности Шостаковича отвечать на гонения сочинением новой вдохновенной музыки. «Вот почему он гений, а мы — только таланты», — заключал Хачатурян.

**Михаил АРДОВ:**

Осенью 1960 года состоялась свадьба Максима Шостаковича. Было это в квартире на Ку-

тузовском, но все угощение привезли из «Арагви». Гостей обслуживал наш дружок Робсон, ему помогали еще два официанта.

Отец невесты был видным советским дипломатом (по-моему, он занимал пост посла в Бельгии), среди приглашенных было много его коллег. Мы — приятели жениха — сидели в конце стола и скучали, поскольку тосты проносились официальные, а разговоры велись неинтересные.

Но вот слово взял какой-то дипломат и предложил выпить за здоровье Максима Максимовича. Мы так и не поняли, кого он имел в виду — Максима Дмитриевича или Дмитрия Дмитриевича?.. Оратора никто не поправил, все подняли рюмки и опорожнили их.

И вот тут я решился несколько оживить застолье — объявил, что хочу провозгласить тост. В наступившей тишине я произнес:

— Поскольку мы только что выпили за Максима Максимовича, я предлагаю теперь выпить за Печорина!

Приятели мои оживились, на лицах у дипломатов появилось недоумение... Они, как видно, со школьных времен Лермонтова не перечитывали...

Сейчас, когда я это пишу эти строки, в семье Шостаковичей существует Максим Максимович, это — младший сын Максима Дмитриевича.

# XXVI

ГАЛИНА:

— Когда он вошел, я поразился, до чего он похож на молодого Сталина — лицо восточное, усы...

Это отзыв моего отца о знаменитом хирурге из города Кургана Гаврииле Абрамовиче Илизарове. В 1969 году отец обратился к нему за помощью, поскольку московские врачи никак не могли помочь ему преодолеть недуг — слабость в ногах.

Встречать Илизарова на вокзал по просьбе отца поехал Ростропович. Они договаривались об этом по телефону, и склонный к шуткам Мстислав Леопольдович говорил:

— Я буду стоять в начале железнодорожной платформы. Вы легко меня узнаете — я похож на обезьяну.



## XXVI

Встреча благополучно состоялась, после чего Ростропович посетовал:

— Как видно, я взаправду похож на обезьяну. Выйдя из вагона, Илизаров направился прямо ко мне, хотя на перроне стояло довольно много людей...

Весной 1970 года отец отправился для лечения в Курган.

Дмитрий ШОСТАКОВИЧ (*письмо И.Д. Гликману*):

«Живем мы здесь так: встаем в 7 часов. От семи до восьми совершаю свой утренний обряд: мытье, бритье, физкультура, слушание последних известий. В 8.30 завтрак. В 9.15 уезжаем в лес, где гуляем один час.

От 11 до 12.30 жестокая, вгоняющая в пот, гимнастика и массаж. В 13.30 обед. В 15.30 опять едем гулять в лес. В 17 возвращаемся в больницу. Все это идет на пользу. Руки, ноги становятся крепче. Но к вечеру я устаю...

Кроме того, раз в три дня мне делают укол. Сделали несложную операцию. То, что я видел в больнице в области лечения, вызывает у меня восторг, удивление, великое восхищение человеческим гением. В данном случае, речь идет о Гаврииле Абрамовиче Илизарове. При встрече я расскажу тебе о его достижениях...»

МАКСИМ:

Я вспоминаю, как отец рассказывал об одном сильнейшем курганском впечатлении. Вместе с ним в больнице находилось множество детей с недоразвитыми или поврежденными руками и ногами... И вот он видел, как эти ребятишки играли в мяч. Во время игры они были совершенно счастливы, они не помнили о своих увечьях и не ощущали их — был слышен смех и радостные крики.

Софья ХЕНТОВА:

От процедур Шостакович отдыхал, играя с маленьким мальчиком Сережей, тоже лечившимся у Илизарова. Мальчик непринужденно появлялся в палате и предлагал: «Дмитрий Дмитриевич, давайте играть в мяч!» — «А что же, сыграем!» И вдвоем они принимались за свой футбол...

МАКСИМ:

Первые симптомы болезни появились у отца в 1958 году. Он был во Франции и выступал в концертах. И вот тогда почувствовал недомогание правой руки. Сначала он решил, что «переиграл руку». Есть у пианистов такой термин, когда от репетиций и выступлений рука переутомляется и начинает побаливать... Но болезнь развивалась, и, в конце концов, поставили диагноз. Это называется «боковой амио-

трофический склероз», в Америке сокращенно — SLA. Болезнь очень противная; у отца была поражена вся правая сторона тела... И была опасность, что когда-нибудь откажет дыхательный аппарат. Но папа до этого не дожил, у него развился рак легкого... Своих недомоганий он стеснялся, я бы сказал, что он относился к своим болезням целомудренно.

Гавриил ЮДИН (*дирижер, композитор, давний друг Шостаковича*):

Однажды в начале 70-х годов, придя в Большой зал Московской консерватории на симфонический концерт, я увидел Дмитрия Дмитриевича и его жену Ирину Антоновну. Они сидели в шестом ряду партера на местах 16 и 17, то есть у самого центрального прохода. Я подсел к ним, и мы заговорили уж не помню о чем. Вдруг к Д.Д. подошел незнакомый нам молодой человек (это был культатташе посольства ФРГ) и по-русски обратился к нему с вопросом — не разрешит ли он представить ему жену посла ФРГ, которая очень хотела бы познакомиться с Дмитрием Дмитриевичем. Он ответил согласием, а я немедленно поднялся с места и, пройдя мимо Д.Д., повернул налево с тем, чтобы пройти по центральному проходу на свое место. Неожиданно для себя я почувствовал, что Д.Д., очевидно, повернувшись мне вслед, крепко поймал меня своей ле-

вой рукой за рукав пиджака. Я остановился и вопросительно посмотрел на него. Д.Д. негромко сказал мне: «Ты ведь знаешь, что я не очень силен в немецком языке, останься, пожалуйста, с нами!» На это я ответил, что, поскольку подходивший к нам атташе посольства явно достаточно хорошо говорит по-русски, то мое присутствие будет безусловно излишним. Д.Д. согласился со мной, и я ушел. В антракте я вновь подсел к Д.Д. и сказал, что мне было очень отраднo констатировать, что он смог так оперативно и ловко манипулировать своей левой рукой и так крепко ухватить меня. Д.Д. грустно ответил мне, что с правой рукой у него дело обстоит намного хуже. Впрочем, я и так знал это. Я знал, что он здоровается правой рукой, поддерживая ее левой, что так же он и пишет с трудом свои рукописи — положить на стол свою правую руку он может лишь подняв ее левой. Тогда я сказал ему: «Но раз у тебя с левой рукой в общем дело обстоит более или менее благополучно, то научись писать ею. Ведь В.Я. Шебалин всю партитуру оперы «Укрощение строптивой» написал левой рукой, хотя отнюдь не был левшой, а перучился, когда правая вышла из строя после инсульта.» Д.Д. печально ответил мне: «Но ведь у Виссариона Яковлевича была воля!..» Я был потрясен этими словами и сказал: «Это у тебя нет воли!?» Д.Д. вновь печально взглянул

на меня и больше ничего не сказал, а я долго не мог придти в себя от его слов и был настолько подавлен ими, что, поскольку как раз закончился антракт, попрощался с ним и с Ириной Антоновной и ушел с долго не утихавшей болью в сердце за великого сына России, которого смогли довести до такого состояния.

**Исаак ГЛИКМАН:**

5 мая 1972 г. состоялась премьера Пятнадцатой симфонии. Зал филармонии был набит до отказа. Публика во все глаза смотрела на ложу, в которой сидел Шостакович. Мне показалось, что многие пришли на концерт не только для того, чтобы послушать симфонию, но для того, чтобы непременно посмотреть на любимого автора.

Он был в черном костюме, белоснежной сорочке и на расстоянии выглядел прежним, молодым, красивым.

По окончании симфонии началась овация. Появление на эстраде Шостаковича вызвало громадный энтузиазм публики. За кулисами он мне сказал: «Если бы ты знал, как устали мои ноги выходить на вызовы!...» И лицо его сделалось страдальческим.

**Кирилл КОНДРАШИН:**

К 1970 году в моем репертуаре были уже многие произведения Шостаковича, и возник-

ла мысль исполнения цикла всех его симфоний в честь шестидесятилетия со дня рождения композитора. Замысел был реализован в течение двух лет. Дмитрий Дмитриевич присутствовал на многих концертах, часто несмотря на болезненное состояние. Каждый раз перед началом концерта он говорил примерно следующее:

— Кирилл Петрович, если симфония будет иметь успех и вы захотите вызвать меня на поклон, пожалуйста, не обижайтесь, если я не поднимусь на сцену, а только подойду к эстраде. Мне трудно быстро подниматься по ступенькам, все будут за мною наблюдать, а я этого терпеть не могу...

**Софья ХЕНТОВА:**

С радостью и благодарностью Шостакович откликнулся на предложение участвовать в подготовке оперы «Нос» на сцене Камерного музыкального театра под руководством режиссера Б.А. Покровского и дирижера Г.Н. Рождественского. В театре, расположенном в подвальном помещении, как вспоминал Покровский, композитору «было мучительно трудно спускаться по лестницам, а еще того хуже подниматься после репетиции вверх... Восторженные артисты предложили нести Дмитрия Дмитриевича по лестнице на руках (это так просто!). Но столь же естественно и

просто от этого отказался Д.Д. Его вполне устроила запасная лестница во двор, и никто не видел, как двигался по ней наш дорогой гость. Никто не видел, не помогал, не соболезновал, не фиксировал внимания на проклятой болезни. Пустяк? Нет, он оградил себя от оскорбительной жалости. И мы помним, как он вдруг появлялся среди нас, чтобы разделить с нами наш труд».

Михаил АРДОВ:

Дмитрий Дмитриевич, несмотря на свои мучительные недуги, не только писал гениальную музыку, но и продолжал свою многообразную общественную деятельность. Я хочу привести отрывки из двух писем. Первое отправлено в издательство «Советский композитор», Шостакович написал его за три месяца до своей кончины — 10 мая 1975 года.

«Я ознакомился с глубоко содержательным и исключительно интересным трудом Николая Андреевича Тимофеева — «Преобразуемость простых канонов». (О некоторых способах определения возможностей извлечения производных соединений из простых трех- и четырехголосных канонов обоих разрядов. С приложениями.) <...>

Новизна и оригинальность идеи, положенной в основу предлагаемой работы, является при этом предельно ясной и чрезвычайно

простой по методу выполнения, о чем свидетельствует ряд интересных исчерпывающих примеров, помещенных в тексте и специальном приложении (таблицы). <...>

Я буду признателен редакции издательства, если по завершении редактирования этой работы мне можно было бы ознакомиться с ее окончательным вариантом; возможно, мне удалось бы предварить ее своим предисловием.»

25 мая Н.А. Тимофеев (*композитор и педагог*) писал:

*«Дорогой Дмитрий Дмитриевич!*

Очень, очень благодарю Вас за отзыв о моей работе «Превращение канонов», который Вы направили И.П. Ильину в издательство «Советский композитор», а так же прошу Вас передать мою благодарность Ирине Антоновне, взявшей на себя труд и беспокойство доставить его.

Игорь Павлович, получив его, созвонился со мной, и вот на прошлой неделе у нас состоялась встреча с ним и с Ириной Федоровной Прудниковой, которой он предлагает поручить редакторскую работу по этой книге. <...>

Во время этой встречи я, конечно, не мог удержаться от того, чтобы не попросить И.П. дать мне прочесть Ваше к нему письмо, а прочтя его — чуть не разревелся... Ведь для меня



Ваша оценка стоит, по крайней мере сотни мнений так называемых «специалистов». Еще и еще раз благодарю Вас за поддержку «Превращения канонов».»

ГАЛИНА:

Я вспоминаю, как отец извинялся перед каким-нибудь своим знакомым:

— Простите, я вынужден здороваться с вами левой рукой...

В конце 1973 года у Шостаковича обнаружили опухоль в левом легком. Я помню, он вернулся из поликлиники, прилег. Я подошла к нему, он говорит:

— В рентгеновском кабинете смотрели меня два часа... То один врач придет, то другой...

Конечно, он догадывался, что дело плохо... Но ни с кем из близких эту тему не поднимал. Это был его жизненный принцип — никогда и никого не нагружать своими собственными проблемами...

Исаак ГЛИКМАНА *(из дневника)*:

9 июня 1974 года.

«Сегодня я был у Дмитрия Дмитриевича в Репине. Мы довольно долго беседовали о разных разностях. Когда мы остались вдвоем (Ирина Антоновна вышла из комнаты), Дмитрий Дмитриевич заговорил о страданиях, которые он испытывает из-за ног и рук. Когда он

по этому поводу произносил отрывистые фразы, слезы блеснули у него на глазах. Затем, сдержав себя, Шостакович сказал:

— Впрочем, я не люблю жалобщиков и сам не люблю жаловаться.

Слушая его, я и сам чуть не расплакался...»

**МАКСИМ:**

Невозможно не сказать о той роли, которую сыграла в жизни нашего отца его жена Ирина Антоновна. Она вышла замуж за Шостаковича в 1962 году, когда его болезнь была в начальной стадии, и даже диагноз еще не был поставлен. И во все последующие годы именно Ирина Антоновна была его главной опорой и поддержкой. Они были вместе во всех поездках, в больницах и санаториях, она была и секретарем, и шофером, и сиделкой...

**ГАЛИНА:**

Помимо всего прочего, Ирина Антоновна умела организовать то, что называется распорядком и бытом. Вот Дмитрий Дмитриевич работает, вот он отдыхает. И она строжайше следила за тем, чтобы его лишний раз не отвлекли, чтобы его не потревожили.

А уже в самые последние годы она стала его поводырем, если это слово можно применить по отношению к тому, кто печется о зрячем человеке. Я так и вижу, она идет с ним под руку и

произносит: «Осторожно, Митя, здесь ступенька вниз... А здесь ступенька вверх...»

В конце концов, на даче в Жуковке был устроен лифт, чтобы отец мог прямо из прихожей подниматься к себе в комнату. Но ведь мы жили в Советском Союзе, и при этом лифте должен был быть человек, который официально имел бы право за ним следить. И Ирина Антоновна, ничтоже сумняшеся, пошла на специальные курсы лифтеров и получила диплом об их окончании.

И вот однажды полученные навыки пригодились. Лифт, в котором находился Шостакович, застрял между этажами. Тогда Ирина Антоновна по приставной лестнице залезла на чердак, и там они с домработницей руками поворачивали огромное металлическое колесо. Лифт двинулся, дошел до второго этажа, и отец был освобожден из своего плена.

**МАКСИМ:**

Я убежден, что именно благодаря заботе, которой его окружила Ирина Антоновна, наш отец, несмотря на свои тяжелые недуги, дожил почти до семидесяти лет. И при этом не должно забывать, что Шостакович оставался творцом до последних дней своей жизни. Он всегда внушал своим ученикам:

— Не следует писать музыку, если ты можешь ее не писать.

## XXVI

Сам он не мог не сочинять, он был одержим творчеством всю свою жизнь. Я уверен, что самое существенное и верное суждение о Шостаковиче было произнесено 14 августа 1975 года над его гробом. Георгий Васильевич Свиридов — один из лучших и любимейших его учеников — говорил:

«Мягкий, уступчивый, подчас нерешительный в бытовых делах, этот человек в главном своем — сокровенной сущности своей — был тверд, как камень. Его целеустремленность была ни с чем не сравнима».

В 1936 году, в страшное для себя (да и для всей страны) время, ошельмованный и униженный, Шостакович сказал:

— Если мне отрубят обе руки, я возьму перо в зубы — и все равно буду писать музыку!..

Это были не пустые слова.

# ПОСЛЕСЛОВИЕ

Михаил АРДОВ:

В семидесятых годах мы с Максимом виделись нечасто. Юность миновала, каждый из нас обрел профессию, и у всех друзей жизнь пошла по-своему. Но я всегда радовался успехам Максима, и чувства мои к нему были неизменны. Последняя наша встреча перед тем, как он эмигрировал, была мимолетной. Я выходил из ресторана при Доме актера, а Максим туда направлялся. Было это, если мне не изменяет память, в 1979 году.

Но вот настал восемьдесят первый год, и иностранные «голоса» сообщили о сенсационном событии: дирижер Максим Шостакович и его сын — пианист Димитрий — остались на Западе. Я, помнится, жадно слушал и «Голос Америки» и «Свободу», меня интересовали

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

все подробности. Сообщалось, что сын и внук великого композитора попросили политического убежища в США и что их принял сам президент Рональд Рейган... У Максима началась новая жизнь.

За год до того, как он стал «невозвращенцем», я не менее решительно изменил свое существование — стал сельским священником. В восьмидесятом году, когда это совершилось, такой поступок означал нечто вроде «внутренней эмиграции». Не забудем: Церковь при советской власти существовала в качестве эдакого гетто. Большевики никогда не скрывали своей цели — уничтожить религиозную веру, а потому сравнение с «гетто» вовсе не шуточное. Но у христиан, как у изгоев, было перед полноценными гражданами важное преимущество — мы почти не принимали участия в тогдашней абсурдной «общественной жизни».

У всесильных бюрократов, да и вообще у всех «советских людей», было о нас, клириках, вполне устойчивое мнение: это или жулик, или ненормальный. Отношение к священнослужителям, как людям весьма подозрительным, я почувствовал на собственной шкуре с самых первых шагов на этом поприще. Никогда не забуду свое прибытие к месту служения — дальнее село в Ярославской области, двадцать шесть километров проселочной до-

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

роги от районного центра — Данилова. Был самый конец апреля. По обочинам и в лесу еще кое-где лежал снег. Первых несколько верст мне посчастливилось проехать на попутном тракторе. Далее я месил грязь резиновыми сапогами...

Дорога проходит через большое село — Спас. Там меня заметил мужик, который чинил забор у своего дома. Он внимательно посмотрел на мою фигуру и сказал:

— А ты не в Горинское идешь, сменить отца Ивана?

Я подтвердил это.

Надо сказать, тоску навевала не только распутица, не радовали и названия селений, через которые приходилось идти, — Стонятино, Скулепово... Да и само Горинское — место, где мне предстояло служить.

После краткого моего диалога с мужиком я едва прошел километра полтора — меня нагнал грузовик, в кузове над кабиной возвышалась гренадерская фигура участкового в милицейской форме. Я был решительно остановлен, поднят в тот же кузов и доставлен в Горинский сельсовет. Там долго и внимательно изучали мой паспорт и указ архиерея о назначении меня на этот приход.

А далее началась некая бюрократическая игра — уполномоченный Совета по делам религий категорически отказывался выдать мне

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

справку о регистрации, пока я не пропишусь в Горинском, а райисполком в Данилове и вторивший ему сельсовет решительно не желали меня прописывать, пока я не предъявлю справку о регистрации... Все это продолжалось недели две, и мне пришлось еще несколько раз преодолевать 26 километров жидкой грязи...

Осенью того же года, когда я уже жил в Горинском, зашел ко мне в церковный дом местный почтальон. Спрашивает:

— Вы на газеты и журналы подписываться будете?

— Да, — говорю, — буду. Я подпишусь на газету «Правда».

(А надо сказать, что в те «баснословные года» именно в этом «центральном органе» при некотором умении читать между строк можно было обнаружить самую существенную информацию.)

От моего ответа почтальон опешил:

— Вы это серьезно говорите?

— Совершенно серьезно. Я подпишусь только на одно издание — на газету «Правда».

— Но послушайте: у меня на участке на «Правду» даже члены партии не подписываются...

— А вот вы им, — говорю, — так и скажите. Вы на свой центральный орган не подписались, а поп его получает...



## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Почтальон принял от меня деньги, выдал квитанцию и удалился совершенно потрясенный.

Старостиха Горинской церкви, после того как мы с ней познакомились ближе и она прониклась ко мне доверием, передала отзыв обо мне секретаря Даниловского исполкома. (По общему положению церковными делами занимались в районных Советах именно секретари.) Так вот даниловский секретарь, фамилия его, помнится, была Орлов, изучив мои бумаги и автобиографию, взглянул на старосту и произнес:

— Советский человек... До чего дошел...

Наше «церковное гетто» просуществовало еще несколько лет — вплоть до восьмидесят восьмого года. В те дни на государственном уровне праздновался воистину великий юбилей — тысячелетие Крещения Руси. Вот тогда-то и рухнула стена, которую большевики столь усердно возводили между верующими и неверующими согражданами.

Все эти годы я существовал с твердым убеждением, что наши пути с Максимом Шостаковичем разошлись окончательно. Но зимой девяносто третьего у меня дома раздался телефонный звонок. К изумлению своему, я узнал голос Максима. Он звонил из Америки и приглашал меня приехать к нему в гости.

Наступил 1994 год, и я по церковным делам отправился за океан. Узнав, что я в Америке, в

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Нью-Джерси, Максим примчался и увез меня к себе в Коннектикут. Тут я познакомился с его женой Мариной и крошечной дочкой Машей, а затем провел несколько незабываемых дней. Расспросам и рассказам не было конца, но самое главное, я узнал, что Максим и его жена приняли Святое Крещение, и оба стали по-настоящему верующими людьми. Мы все вместе совершили паломническую поездку в местечко Джорданвиль, в Свято-Троицкий монастырь, который являлся духовным центром Русской Зарубежной Церкви. А кроме того, я совершил чин освящения дома, в котором тогда жило их семейство.

Помнится, я набросился на библиотеку, поскольку у Максима было множество книг, в России тогда еще недоступных. Но больше всех эмигрантских изданий мое внимание привлекла книга, напечатанная в нашей стране и содержащая письма Д.Д. Шостаковича к И.Д. Гликману. Я впервые взял ее в руки, а затем и прочел — не отрываясь. И тут, разумеется, мой интерес к великому композитору разгорелся с новой силой. Вот тогда-то мне и пришла в голову мысль записать то, что помнят о своем отце Максим и Галина.

Идея моя у них энтузиазма не вызвала. Я приписываю это унаследованной от Дмитрия Дмитриевича скромности, всегдашнему желанию быть в тени. Максим отказывался наот-

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

рез, но я был настойчив и при каждой новой встрече уговаривал его взяться за мемуары. Галина оказалась более сговорчивой, но и она была настроена скептически. Ей представлялось, будто все, что она может рассказать об отце, незначительно и неинтересно.

И все же весной 2001 года мы с ней взялись за работу. Я включил диктофон и начал расспросы. И тут неоценимую помощь нам оказала все та же книга — письма Дмитрия Дмитриевича к Гликману. Я читал вслух очередное письмо отца и вопрошал: не вызывает ли оно у дочери каких-нибудь воспоминаний или ассоциаций?.. Шаг за шагом мы двигались вперед до тех пор, пока не появился некий связный текст.

А в начале лета, имея на руках воспоминания Галины, я договорился о встрече с Максимом. В те дни он со своей семьей находился в Ивановской области, в деревне Китайнове, под городком, который носит название Южа. Добираться туда не так просто. Автобус из Москвы отходит в десять вечера, а в Южу прибывает в пятом часу утра. Я доехал без особенных приключений, хотя изрядно утомился — автобус старый, сиденья жесткие, а потому ночь была бессонной.

Я пробыл у Максима три дня, и жили мы с ним, как всегда, душа в душу. Работали мы таким образом: я читал ему вслух то, что мне рас-

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

сказала Галина, а он делал свои дополнения. На второй день занятий Максим мне сказал: «Вот только теперь ты меня убедил: мы действительно должны написать эту книгу».

В конце лета мне предстояла еще одна поездка в Китайново для того, чтобы согласовать с Максимом окончательный текст. Памятуя первое утомительное путешествие, на этот раз я решил ехать не ночью, а днем: добрался на автобусе до Иванова, а там нанял легковую машину. По дороге я объяснил шоферу, что мне нужна не самая Южа, а Китайново — деревня в пятнадцати километрах от города. Водитель внимательно выслушал меня и сказал:

— Где-то там живет сын Ростроповича.

— Не Ростроповича, а Шостаковича, — отвечал я, — вот именно к нему я и еду.

Мы выражаем глубочайшую признательность  
создателям и участникам документального фильма  
«Сотворение Шостаковича»,  
а так же авторам и составителям  
нижеследующих изданий:

Д.Шостакович о времени и о себе, М., 1980

Хайкин Б., Беседы о дирижерском ремесле.

Статьи, М., 1984

Хентова С., Шостакович.

Жизнь и творчество, Л., 1985.

Письма к другу. Дмитрий Шостакович –

Исааку Гликману, М.-Спб., 1993

Ражников В., Кирилл Кондрашин  
рассказывает о музыке и жизни, М., 1989.

Дмитрий Шостакович в письмах  
и документах, М., 2000.

Волков С., Шостакович и Сталин:

художник и царь, М., 2005.

Шостакович-Urtext, М., 2006,

Шостакович Д.,

Письма И.И.Соллертинскому,

Спб., 2006.

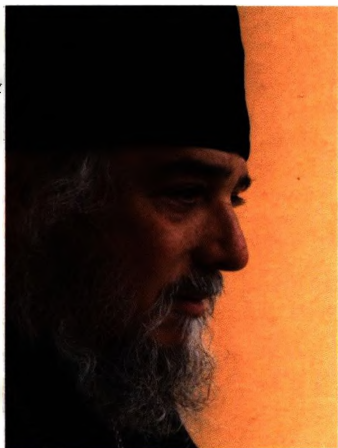
Великая душа  
Воспоминания о Дмитрие Шостаковиче

Ответственный за выпуск Т. Бердикова  
Корректор О. Лялина  
Художник А. Рыбаков  
Компьютерная верстка У. Кузина

Подписано в печать 31.10.2008. Формат 60x90 1/16  
Бумага офсетная. Гарнитура NewBaskervilleС. Печать офсетная  
Усл. печ. л. 8 + 1 вкладка = 9, тираж 3 000 экз. Заказ 7532

Издательство «Б.С.Г.-ПРЕСС»  
109147, Москва Б. Андроньевская ул., 22/31  
Тел./факс ( 495) 980 21 59  
E-mail: bsgpress@mtu-net.ru

Отпечатано с готовых файлов заказчика  
в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати»  
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14



С течением лет и даже десятилетий интерес к Шостаковичу во мне не исчез, как не исчезло и впечатление, что Максим и Галя знают о Дмитрие Дмитриевиче нечто такое, чего не знает о нем никто. В конце концов, я задался целью: записать то, что мои друзья захотят рассказать об отце. Так родилась на свет эта книга. Монологи сына и дочери композитора я дополнил выдержками из его писем, фрагментами мемуаров и т. д. В некоторых случаях я не мог удержаться, чтобы не сопроводить рассказы Максима и Галины своими воспоминаниями, прямо или косвенно относящимися к разговору.

Протоиерей МИХАИЛ АРДОВ

ISBN 978-5-93381-275-3



9 785933 812753

ГАЛИНА  
ШОСТАКОВИЧ  
МАКСИМ  
ШОСТАКОВИЧ

Лео Арнштам

Виктор Виноградов

Соломон Волков

Александр Гаук

Исаак Гликман

Нина Дорлиак

Михаил Зощенко

Кирилл Кондрашин

Лев Мазель

Анатолий Мариенко

Николай Пейко

Клавдий Птица

Герберт Раппопорт

Илья Слоним

Николай Соколов

Николай Тимофеев

Борис Тищенко

Борис Хайкин

Арам Хачатурян

Софья Хентова

Дмитрий Цыганов

Григорий Шнеерсон

Родион Щедрин

Гавриил Юдин